

Виталий Масюков

ДАЛЕКАЯ ГАЛЕРЕЯ



Виталий Андреевич Масюков.
О себе.

Родился так давно, что уже и не помню когда.

Начал зарабатывать на пропитание как играющий волейбольный тренер, а в настоящее время – начальник техбюро.

Учился в Литинституте на драматургическом отделении и поэтому моя жизнь похожа на драму.

Печатался, в основном, во сне.

Литературно-художественный альманах «Карамзинский сад», 1991 год

ДАЛЕКАЯ ГАЛЕРЕЯ

комментарии дилетанта

2006 год

*Боже, куда занесло!
И – все заносит, заносит...*

Валерий Крушко

Помирать собирайся, а рожь сей.

Пословица

Аубады, баллады, венки сонетов, верлибры, гомон, дансы, диалоги, диалоги открыто – скрытые, канцоны, катрены, кольцевики, монологи, неосекстины (четырёх видов), октавы (7-ми видов), перепады, разговоры, рондо, секстины, септимы, сонеты, сцепки, тенсоны, терцины, триолеты, триптихи, узинсы, а также поэмы, фрагменты стихотворных романов, стихи обычных форм и белые.

!

(На античные и иные дохристианские сюжеты с редким, спонтанным вкрапливанием современности)

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПЕГАС»

неосекстина

Один из множества коней
был сколь могуч, столь норовист.
К нему с уздой не подступи!
Когда он мчался по степи,
то drobный гул и резкий свист
крошили сон камней.

И все ж его загнали в топь,
орущей сворой – одного.
Взлетел аркан, второй аркан...
Как доля гордеца горька:
тащили волоком его,

вконец унижить чтоб!

В конюшне, в стойле из кряжей
он присмирел, казалось бы...
Но отдышавшись за ночь там,
он на заре разнес к чертям
и стены стойла, столбы,
и пьяных сторожей!

Он вынесся – в крови, в щепе –
под окна царского дворца.
И, оставляя под хвостом
сановный блещущий содом,
помчался прочь... «Взять наглеца!» -
владыка прошипел.

Вот мчится он, скрываясь с глаз
погони, чей угрюмый гнев
громит попутно города.
И мчится он стремглав туда,
где даль степная, засинев,
с небесною слилась.

Он сотни верст уже покрыл,
а даль - синей, синей, синей...
И демиург промолвил: «Что ж,
придется огорчить святош –
один из множества коней
достоин мощных крыл».

К «ГЕРОИЧЕСКОМУ ПЕЙЗАЖУ» ПУССЕНА

белые стихи и два триолета

1.

В чем героичность здесь, мне, признаю,
не ясно с первого простого взгляда.
Долинный люд обыденно вполне
обманчивое время коротает.
Томятся в ожидании любви,
не сознавая этого девицы.
Мужчины – нет, чтоб с шуткой подойти! –
в кустах, подглядывая, вождедеют.
А некто, томный, в лавровом венке –
самопрославленный пиит, должно быть, -

на мшистом мягком взгорке возлежит,
одновременно в облаках витая.
Поодаль же, с достатком на уме,
пасут скотину, вскапывают почву...
Так в чем же героичность? Разве что
в утесах? Да, наверное, в утесах –
огромных, столь огромных, что парят
на половине высоты их птицы,
и столь неласковых, что ржавый мох,
и тот их не покрыл, местами даже.
И на вершине дальнего...Верней,
собой, огромным и нагим, являя
как бы одушевленную вершину
угрюмейшего дальнего утеса –
сидит циклоп. И занят исполин
тем, что наигрывает на свирели.
Возможно, перед нами Полифем,
тот, некогда ославленный Гомером?
Чем гению он так не угодил?
Не тем ли, что ему людское чуждо,
а музыка всего и всех – родней?
Однако ж я, выходит, уклонялся
от ясного ответа на вопрос:
в чем этого пейзажа героичность?

2.

Играет на свирели Полифем,
присев на верх огромного утеса.
Сам, как утес, и наг, и неотесан,
играет на свирели Полифем.

И небожители довольны тем,
что след их давний на земле не стерся –
играет на свирели Полифем,
присев на верх огромного утеса.

3.

Коль музыка сошла с небес на землю,
Ей надлежит вернуться восвояси.
Не шелохнут листвою ни граб, ни ясень,
коль музыка сошла с небес на землю.

А что же люди? Музыке не внемлют
прагматикам расклад предельно ясен:
коль музыка сошла с небес на землю,

ей надлежит вернуться восвояси.

ОТ ЛИЦА АРГОНАВТОВ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «АРГОНАВТЫ»

катрен

Гордость распирает парус «Арго»,
и поют, не сдерживаясь, снасти.
В путь!

 За радугою, яркой аркой,
 море, мир и наши души – настезь!

К КАРТИНЕ РЕМБРАНДТА «ДАНАЯ»

два сонета

1.

Уж Зевс, бишь дождь, который золотист,
в прихожей засиял на половицах...

О всемогущий, снова воплотись
в крутого налитого олимпийца,

чьи молнии, грознее сто баллист!
Чтоб не посмел к Данае подступиться
ни хлыщ, ни солдафон, ни куплетист,
ни повар, ни политик, ни убийца.

Да, чтоб разумная трусливость тут же –
как быстрая предутренняя стужа –
сковала сладострастья глупый ток.

И пред картиной благостно и чинно
вставали разномастные мужчины
и отходили, постояв чуток.

2.

О как пышна Даная, как тепла,
как упоительно любить готова!
На этом ложе, проще бы простого
проспать, казалось бы, - не проспала.

Избранника, не шибко молодого,

красавица недаром завлекла,
поскольку – что же это, как не клад? –
он входит в виде ливня золотого!

Но полно. Полно, нудный эрудит.
Послушай лучше, что сосед твердит:
«Из века в век, и в каждый миг единый

затворница без лишнего словца
здесь принимает нищего – творца
роскошной полнодышащей картины».

ТИЦИАНУ, ИЗОБРАЗИВШЕМУ ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ НА ОСНОВАНИИ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мое повествование достоверно.
Скорей съем таракана, чем прилгу.

Европа, финикийская царевна,
с подружками резвилась на лугу.
И потихоньку отделясь от стада,
приблизился к ним белоснежный бык.
Подгрудок – словно пена водопада,
и рожки – покорооче детских пик.
С жемчужным, нежно-розовым отливом,
и кроткий взор, - синей, чем лазурит.

Где ж девам знать, насколько Зевс шкодливый,
лишь вечно молодая кровь взбурлит!

Они на новичка не без испуга
установились: красив, но исполин!
Европа, та и вовсе, как прислуга,
выглядывала робко из-за спин.
Однако испарились очень скоро
все опасенья, и девичий рой
завился, зазвенел вокруг актера
(доныне не рожден такой второй!).

Миг - и на рожках, столь изящно гнутых,
как будто осыпь радуги – венки!
И белоснежный включенный подгрудок,
Глядишь, расчесан наперегонки!

И голоса: «Отведай травки свежей!»
И в бычьи губы – за пучком пучок...
Как загреметь хотел бы громовержец!
Однако травку хрумкал и – молчок.

Царевна, хоть последней осмелела,
спроворилась тишком к быку прильнуть
и гладила оплечье - неумело,
но не сказать, что холодно. Отнюдь!

И только опустился на колени
великолепный исполинский бык,
Европа – ни секунды промедленья
(среди принцесс подобных торопыг
история не знала!) – на спине
расположилась, будто на тахте.

Тут харкнул исполин зеленой пищей
и, поднимаясь, тяжело закричал:
на нем уже – визжащим пестрым скопом –
устроились все девы! Вот те на!
Считая с августейшею Европой
Их, справных, было десять как одна!

Но Зевс, он Зевс-то и в любом обличье.
И запросто свою удвоив мощь,
поднялся бог на резвы ноги бычьи
и – мимо пастухов, холмов и роц –
к синющему вдалеке заливу...

Поплыл легко, надежный, как паром.
Но пассажиры, жмурясь боязливо,
синхронно ойкали вдесятером.

Он их ссадил культурно под навесом
прибрежных раскудрявых критских лоз.
И тут произошел с могучим Зевсом
поочередно ряд метаморфоз.

Вот загибаю пальцы, чтоб не сбиться.
Сначала превратился бык в орла.
Затем в бобра осанистого... В шпица...
В змеёныша, что ввёртливей сверла...
В гепарда, умащенного немного...
В атласного дельфина... В кенгуру...

В ежа улыбочивого... В осьминога...
Нет, осьминога не было, тут вру.
Кто ж был еще? Ах да – звезда морская.
И воплощениях всех шкодливый бог
красивым оставался, испуская
флюидов страстносладостный поток.

И потому ни о каком насилье
нет и речи. Девы, томны и тихи,
с самопожертвованием оросили
багряным малахитовые мхи.

И кстати, не минуло и недели,
как из пропавших визуально мет
проклюнулись такие орхидеи –
в восторге впору было онеметь!

Вот так. И полагаю, что искристей
иных мой достоверный вариант.
Вот где раздолье, вот где пир для кисти!
Вернись на землю, славный Тициан!

ПЕРЕД КАРТИНОЙ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «ПАДЕНИЕ ИКАРА»

ГОМОН

- Где здесь Икар? Икара я не вижу.
 - Упал – пропал! Ну, Брейгель, лиходеи!
 - Seriously я.
 - Позвольте, чуть приближусь.
 - Сюда еще бы пару лебедей.
 - А коль серьезно, поглядим получше.
 - Так. Пахарь, конь. Пастух, овечек гурт.
- Рыбак. Из тех, что даже в свежей луже
сома поймать мечтают...
- Балагур!
 - Да я уже...
 - Нелепая картина!
 - ...все оглядел: Икара нет нигде.
 - Так. Галион, но палуба пустынна...
 - Я говорю, сюда бы лебедей.
 - Вот! Вот он! Из воды торчит босая

ступня. Близ полавка притом торчит...

- Действительно.
- Рыбак-то! Не спасая,
сидит себе...
- Ему бы лишь харчи!
- Рыбак – он что? – рыбачит, пахарь пашет,
пастух пасет, всяк с мыслью о еде.
- Пастух-то смотрит вверх...
- Вослед папаше, что сына бросил!
- Жаль, нет лебедей.
- ...всяк с мыслью о еде с утра пораньше
знай трудится, что им до сопляка,
который, ошалев, в никчемном раже
взлететь пытался аж за облака?
Что до Дедала...Людям достославным
привычно оставлять родных в беде.
Вот лебеди...Вы правы, сударь, в главном:
здесь не хватает пары лебедей.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «МУЗА ЭРАТО»

неосекстина

Вы все о ценах и тарифах...

Лучше

я вам сейчас поведаю про то,
как между роз,

 столь дивных, сколь колючих,
на мшистом взлобке скромной сиротой
тихонько примостилась Эрато
и на голыш наматывает лучик.

Вы говорите, глупое усердье.

Голыш, как ни верти, как ни смотри,
и жёсток-де и беспросветно сер-де.

Каков снаружи-де, таков внутри...

Ох, зря вы так на выводы шустры!

Ведь камень скоро превратится в...сердце!

Да! Всмотримся и различим в серёдке
искристо-золотистого клубка
пульсацию...

 А после мерный, кроткий

услышим стук...

И вдруг, наверняка
И в том стуке –
в нем, а не издалека! –
послышатся нам песенные нотки.

Но в теле,
приращённом за мгновенья,
звучнее сердце запоем в сто крат!
И будем мы внимать, благоговей.
И всюду звери уши наострят
и закивают тихо – каждый рад
тому, что слышит наконец Орфея.

ПОПЫТКА ОЗВУЧИТЬ КАРТИНУ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СЛЕПОЙ АЭД И ТОЛПА»

- Пожалуйста, оставьте жалобы!
Вдали – прислушайтесь! – сирена
поет о чуде жизни бренной,
о том, что видеть надлежало бы.

- О чем он? Что за речи странные?
- Я рада, если среди отбросов...
- Не по карману даже просо,
не говорю уж о баранине!

- Зачем о пище так надсадно вы?
Сирены голос слаб, прерывист.
Но песнь, что слышу я впервые,
мне не забыть и в безднах адовых...

- Сирена? Это козы мекают!
- Тешу я камни от восхода...
- А в ад бы нашего архонта
Со всей прожорливой семейкою!

- Ну вот, вы снова о правителе!
Поет сирена о прекрасном,
о том, на что вы ежечасно
смотреть смотрели, да не видели!

Не видели за паутиною

забот, хлопот и словопрений.
Прощайте!

К морю и сирене
пойду дорогою пустынною...

- И впрямь пошел!

- Бодрее зрячего!

- Но в лес ведь устремился сирий!

Там не сирены, а сатиры!

- Иди, иди да не сворачивай!

СИЗИФ

(по поводу картины Тициана и др. художников)

венки сонетов

Виктору Малахову

Каркас

Я – Сизиф, я богам насолил презрительно.
А что людям вредил – это гнусный поклеп.
Я наказан, чтоб было другим неповадно.
Хохотали зеваки Аида захлеб –

ведь толкал я, Сизиф, в гору камень громадный,
и глаза у меня вылезали на лоб...
Покачнувшись, валун устремился обратно...
Камень, а вытворял что? И – мне лишь назло б.

Все же я дотолкал тот валун до вершины.
И столкнул его сам, гарпий тем поразив.
Дивный дух высоты я вдохнул вместе с дымом.

И – меня ль донимал...тех внизу...пыл блошинный?
Я стою на вершине, могучий Сизиф,
на вершине в Аиде, отныне родимом.

1.

Я – Сизиф, я богам насолил презрительно.
Только Зевс, обратившись на время в щегла,
разрезвился с Эгиной, наядой нарядной –

слуг послал я об этом кричать на углах.

И Гадес заявился, чтоб с ловкостью знатной
заковать меня в цепи...Наивный мозгляк!
...а потом долго слушал, как цепи звенят на
непривычных к работе его же мослах.

Мне легко удалось убедить Персефону
в запоздалом, но нужном свершенье обряда
погребального, в том, будто я, остолоп,

к ней вернусь, ни жены и ни чаши не тронув...
Да, богам я, Сизиф, насолил, это правда.
А что людям вредил – это гнусный поклеп.

2.

А что людям вредил – это гнусный поклеп,
на меня возведенный притом по указке
свыше, с тех олимпийских лужаек и троп,
где лишь боги гуляют без всякой опаски.

И к тому ж я из тех знаменитых особ,
коим эллины любят приписывать дрязги,
щедро желчью своей направляя их, чтоб
поскорее придать широчайшей огласке.

Мне привычно – как в тине рачку – в анонимных
обвиненьях и даже в угрозах прямых,
хоть ничуть зачастую я не виноват. Но

суть, конечно, не столь в достоверных иль мнимых
злодеяньях, грехах и оплошках моих –
я наказан, чтоб было другим неповадно.

3.

Я наказан, чтоб было другим неповадно,
чтобы впредь даже самый из нас боевой
и не пикнул о Зевсовой жизни приватной,
о любовных бесчисленных шашнях его,

чтобы самый рискованно-сноровистый хват наш
не посмел бы даже в момент роковой
бога в цепи тяжелые заковать на
день-другой – мол, познай на себе, каково...

чтобы самый хитрющий и дерзкий забавник
не решался морочить богинь яснолобых,
хоть иные из них не умней антилоп.

Вот в чем суть наказания, в коем вдобавок
к истязанью и – осмеянье. Еще бы! –
Хохотали зеваки Аида взახлеб.

4.

Хохотали зеваки Аида взახлеб.

Перед ними такая предстала картина:
склон горы, каменистый и голый, без троп.
Где там тропы – ни тропочки козьей единой!

У подножья – валун, угловатый, как гроб.
Рядом – муж обнаженный, отнюдь не детина.
Исхудалый, как после тяжелых хвороб,
он плечом приналег на гранит исполина.

Слева-справа ущелья полны полумраком.
А с задымленной, странной такой высоты
черных гарпий гортанно-сатрапы команды...

Как же было аидовым зыбким зевакам
не смеяться, не ржать, надорвав животы –
ведь толкал я, Сизиф, в гору камень громадный.

5.

Ведь толкал я, Сизиф, в гору камень громадный,
дабы им увенчать темя лысой горы.
Дым меня обогнал, серый, едкий и смрадный –
без усилий взлетал на любые бугры.

Столь же едки и смрадны, и вовсе нещадны –
словно дротики варварской давней поры –
снизу крики летели в меня сквозь отвратный
дружный хохот, сквозь бред, будто люди добры:

«Это – царь?! Это тягловый скот длинноухий!»
«Пучеглаз-то!», «А стон помогает уроду...»
«Подпалить ему зад – побыстрее помогло б!»

Злыдни не привирали ничуть: от натуги
я невольно стонал и хрипел косорото,

и глаза у меня вылезали на лоб.

6.

И глаза у меня вылезали на лоб
и не вылезли чудом, так были натужны.
Я, забыв окончательно царский опломб,
унижаясь пред тяжелой бездушною тушей,

меж стенаньями молча молил: «Слав-ный, злоб-
нень-кий сдвинься повыше нем-но-жеч-ко, ну же!»
Так, шажками мальчика-однолетка, топ-топ,
вслед за камнем громадным, его неуклюжей,

восходил царь Коринфа, лишь в дым облачен...
И казалась гора не настолько высокой,
и казалось уже, что валун – будто брат... Но

только я, чтоб подставить другое плечо,
отстранялся на миг от замшелого бока –
покачнувшись, валун устремлялся обратно.

7.

Покачнувшись, валун устремлялся обратно,
сбив при этом меня, разумеется, с ног –
устранив, как назойливую неприятность,
как вздремнувшую ящерку или вьюнок.

Распластавшись, похожий на труп, вероятно,
с покаябанной, тупо саднящей спиной,
видел я, что внизу эйфории злорадной
колыхалась толпа, как прибой тот речной.

Дым дрожал от людского громового ржанья...
А валун удалялся весьма расторопно
и подпрыгивал даже, как пьяный циклоп,

и в придачу, предельно меня поражая,
тем, внизу, подхохатывал – гулко, утробно...
Камень, а вытворял что? И мне лишь назло б!

8.

Камень, а вытворял что? И – мне лишь назло б!
Ведь сорвавшись стремглав с каменистого склона
в свой разнузданно-тяжкий циклопий галоп,
с каждым разом все более он отдаленно.

От подножья горы, от моих первых проб
замирал – замирал будто бы утомленно
и смиренно, не ведая будто бы об
отвратительной роли своей (ишь – теленок!) –

то кренился в зловонной канаве, уродлив,
то терялся в руинах гранитных колонн,
то... Короче, валун, с виду в общем, невинный,

вел себя – лишь назло бы мне, только бы против...
Но... поняв вдруг, что сам – сам! – был злом ослеплен,
все же я тот валун дотолкал до вершины.

9.

Все же я тот валун дотолкал до вершины.
Как? – Ладонь на костлявую пыльную грудь
положа, дал я камню обет нерушимый
восвояси его, не помешкав, вернуть.

лишь окажемся на вершине в тиши мы.
И – в согласье уже – вновь отправились в путь
на любой крутизне – слитны, нерасторжимы,
сходно-каменные, я лишь теплее чуть-чуть...

На вершине, не ждя ни кимвал, ни оваций,
встали рядом и вровень. И, подлинно знаю,
каждый был по-мужски, по-валуныи красив.

Я сказал валуну: «Жаль с тобой расставаться.
Но обет есть обет, обещал – выполняю».
И столкнул его сам, гарпий тем поразив.

10.

И столкнул его сам, гарпий тем поразив.
Надо мной они замерли, вычернив небо,
а потом, будто вывалянные в грязи,
крыльями затрясли, затрясли и нелепо,

вниз и в стороны прянули, погрозив
напоследок мне скорой расправой свирепой,
мол, стократно раскаешься, дерзкий Сизиф,
что решил посягнуть на аидовы скрепы!

Ах, надсмотрщицы злобные! Разум ваш темен

так же, как подоплека убийств и измен.
И для вас недоступно и необъяснимо,

что на долгом совместном последнем подъеме
выдыхал я и выдохнул страх, а взамен
дивный дух высоты я вдохнул вместе с дымом.

11.

Дивный дух высоты я вдохнул вместе с дымом.
И, хоть в горле давно пересохшем першит,
ощущаю себя будто бы побратимом
времени – молодым, для кого хороши

все вакханки на празднестве неукротимом
и кому два десятка деяний свершить –
не сегодня, так завтра же – необходимо
(Сколь живителен дух даже дымных вершин!).

Да, конечно, пока что и мне самому
не ясны предстоящих деяний идеи,
но, уверен, деянья те будут обширны!

Я ль на склоне крутом надрывался, как мул,
понукаемый криками черных индеек?
И – меня ль донимал...тех, внизу...пыл блошиный?

12.

И – меня ль донимал...тех, внизу...пыл блошиный?
Как они далеки! Различаю я чуть
со своей высоты космы их и плешины
(да и то, если ветру случится подуть).

Крик и хохот их здесь, наверху, не слышны и
неуместны...Несчастные! В липкую муть
олимпийцев клеветы, мракобесы сплошные,
ввергли их злонамеренно – не продохнуть!

Видя, все они, в сущности, все-таки - слепы,
слыша, все они в сущности все-таки – глухи.
Колготятся, округу собой занозив...

Я недавно и сам был таким же – нелепым.
Но теперь впору мне зачислять вихри в слуги –
я стою на вершине, могучий Сизиф.

13.

Я стою на вершине, могучий Сизиф,
и себе говорю: четверть дня пролетело.
Ты ж, актер, изваяние изобразив,
и воистину стал бронзоветь пустотело.

Что ж, Гадесу осталось найти абразив
чтоб, начищена, бронза, как солнце блестела?
Нет, Сизиф! Хорошенько всмотришь – не вблизи,
так вдали ты достойное высмотришь дело.

Да, вдали и внизу. Ибо тех горемык,
тех, дрянных по вине олимпийских клеветов,
выручать надлежит тебе необсудимо.

Что, Сизиф, - вопрошаю себя напрямик, -
только здесь уяснил ты заветное кредо,
на вершине в Аиде, отныне родимом.

14.

На вершине в Аиде, отныне родимом –
я сказал, не обмолвись, сказал неспроста.
Где осмеян, унижен, я мулом предстал?
Где валун был врагом мне, а стал побратимом?

И – где дух высоты я вдохнул (после ста
вдохов низости)? Где? Не в Коринфе, вестимо.
Тут, в Аиде! И где предстоит низких, злимых
на вершину доставить, толкать не устав

(вспомнив нежно не раз свой валун угловатый)?
Тут, в Аиде! Тут место для славных тех дел,
о которых, потомки, в анналах прочтете,

и для схватки, чье эхо заполнит кантаты...
Я – пока что не скрючился, не поседел.
Я – Сизиф, я с богами еще не в расчёте.

ОТ ЛИЦА АМАЗОНОК С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ
НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

перепады

Пускай историк пыльный,

в нас не веря,
описывает подвиги мужей.
Мы с вертела снимаем тушу зверя
и мясо жаркое едим с ножей.

А рядом позволяем травку хрупать
мужчинам, бишь стреноженным коням.
Хвостами знай охлёстывают крупы,
на страх мошке настырной и слепням.

Насытись, мы желаем для потехи
какое-либо племя покорить
и свистом вороных, гнедых и пегих
скликаем – пусть свою покажут прыть!

Мужчина взнуздан,
под черпаком!
И пусть стоусто
звучит кругом:
мужчина – взнуздан!

Как славно по полям и косогорам,
по виноградникам и площадям
несть на скакуне могучем, гордом,
подножную никчёмность не щадя!

Как сладостно по своему капризу
то вскидывать зверюгу на дыбы,
то вскачь пускать,
то сдержанною рысью
а то на взятые рва иль городьбы.

И если ров широкий взят без дрожи
и отлетел гоплит – как невесом,
то можно гриву прыткому взъерошить,
а вечером побаловать овсом.

Мужчина взнуздан,
под черпаком!
И пусть стоусто
звучит кругом:
мужчина взнуздан!

К ГРАВЮРЕ ДЮРЕРА «МЕЛАНХОЛИЯ»

рондо

Отлеталась. Навсегда. Но вдруг искуса
Не избегнет? Что же, жди тогда конфуза:
олимпийка, прелесть, мастерица смут,
с крыльями на зависть грифу самому,
полетит, наверно...по полу да юзом!

А вчера над Этной мчалась, над Эльбрусом,
отставал торнадо, уступал самум...
Что травить-то душу? Видно по всему,
отлеталась.

Даже крылья – крылья! - выглядят кургузой,
ни на что не годной, глупою обузой.
Но в глазах, в глуби их тлеет магма мук!
Нет, не верю я, не верю я тому,
будто – Божьей милостью крылата – Муза
отлеталась.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ПРЮДОНА «ПОХИЩЕНИЕ ПСИХЕИ»

триолет и белые стихи

1.

Психея спит, как лотос, безмятежна,
но лотоса, конечно, восхитительней.
Переговаривайтесь, похитители -
психея спит, как лотос, безмятежна.

Эрот не думал, что накатит нежность,
и растворился он как обольститель в ней.
Психея спит, как лотос, безмятежна,
но лотоса, конечно, восхитительней.

2.

А я-то, я, уснувший после встречи
на уровне...э-э...половика,
как выглядел?

Наверняка отвратно.

Однако ж, без сомненья, поделом.
Но вот за что мне сон такой дурацкий?

Приснилось, что прюдоновский шедевр сияет в бедной нашей галерее.

Пред ним десятка полтора зевак,
в числе которых я, чуток взбодрённый.
И, покосившись, вижу: у дверей
стоят два синих странноватых шкафа...
да нет, не шкафа!

Ибо не стоят
уже, а движутся неторопливо
к нам, немо созерцающим шедевр.
Да это – в тренировочных костюмах
насквозь известной фирмы «Адидас» -
братки.

И тут неведомо откуда
возникший – вот те на! – верзила мент,
такой, как михалковский дядя Стёпа,
ручищу неестественной длины –
Ага, за счёт резиновой дубинки! –
вытягивает молча – аккурат
на уровне голов неумных наших –
и оттесняет нас легко в сторонку,
освобождая для братков проход,
вестимо, к ней, прюдоновской Психее,
сияющей жемчужной наготой.
И мы из-за шлагбаума такого –
неколебимой ментовской руки –
зрим, как один из крупногабаритных,
круглоголовых, крутоплечих, кру-
гом представительных сограждан.
Из своего кармана достаёт...
что? – да, опасную, похоже, бритву!
Спокойно! Рядом милиционер!
А дальше видим, поднырнув почти что
под охранительную мощь руки,
что с демократизатором едина,
как наш кру...кру...кру...кру...кру-земляк
по контуру по внутреннему рамы
проводит бритвой, блещущей слегка,
холст с так и не проснувшийся Психеей
заботливо – каков ведь кавалер! –
в объятья принимает чисто братски,
но спохватившись: я ж, мол, деловой! –
в рулон, сопя, сворачивает.

После
лампасные кру...кру...кру...кру-братки

отнюдь не как армейцы, а степенно,
с развальцей совершают поворот
и удаляются походной шкафьей.
У одного под мышкою рулон.
«Суть в том, - я слышу шёпот слева
(стоял там бородатенький субъект
с ухмылкой провокаторской слащавой), -
что нынче у крутых...хе-хе...фуршет
в местечке заповедном, на пленэре.
Естественно, путаны и попса,
а вместо там скатёрки иль клеёнки –
Со спящею нагой Психеей холст,
на нём – их убедил знаток известный –
отлично будут ломтики семги
смотреться...»

Наконец-то, умолкает.

Наверняка пронира-журналист!
Но умолкает он, сдаётся, поздно.
Вознесшийся под самый потолок,
суровый Стёпа, хоть свою десницу
шлагбаумную опустил уже,
однако же на нас взирает сверху
так...затрудняюсь и сказать я, как.
Скажу, лишь, что сочувствия к нам, сирым,
в глазах мента не более, ей-ей,
чем рыбы в дождевых придомных лужах.
Но...Фокусирует он взгляд на мне...
Чтоб подавился я своим сарказмом!
Из лужи жутко выглянула пасть
акуля!

В этот миг я и проснулся.

А кто, какой, скажите мне, храбрец
тут не проснулся бы?

Ещё скажите,
за что мне послан сон такой дурной,
который был точь-в-точь как явь?

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ
НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«СТАРЫЙ ВОИН»

катрен

Колесницы вдали,

в укромной чаше, на исходе дня,
свела с кентаврихой атласно крупной
шального фаэтонова коня!
«Недаром имя звучное Минерва
мне кажется манерным чересчур,
к тому ж рифмуется Минерва – стерва» -
Так, отходя, филистерски ворчу.

У КАРТИН НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «АРЕС» И «ТРИ НЕРЕИДЫ»

давний разговор в форме дансы
и резюме-ассорти

(подобие поэмы)

С тех пор пролетели года и года...
Быть может, вы девушку знали тогда...

Эдгар По

1.
Бровей угрюмейший излом
и чувства стянуты узлом,
узлом двойным,
он – бог войны.

А ты, безбожница, стоишь
Пред ним,
 легко бросая в тишь
фальшпух словес
(в подтексте – вес):

«Представь, на тот лесистый холм
я подымаюсь...

 Да верхом!

Но только конь –
чтоб из тихонь.

На мне венок из росных роз,
а в остальном прикид мой прост:
туника из
то ль искр, то брызг,
сандалии – лишь Иогансон

не навредит
вид nereид?

Три nereиды в свой черёд
в подводный занырнули грот,
Чтоб ни один
краб иль дельфин,
тем паче ушлый осьминог
подслушать ветрениц не мог.
И вот они
теперь одни
и можно пошептаться всласть
(всегда причём!).
Косым лучом,
что золотистее вдвойне
в зеленоватой глубине,
неровный вход
в заветный грот
украшен иль зачёркнут иль...
(Художник имя утаил
и умолчал
про цель луча).

Меж тем, на дальнем берегу –
ты слышишь – удивленный гул.
То я, представь,
пускаюсь вплавь
по морю, бурому слегка,
карибским брассом в три гребка –
тих, как ладья,
переходя
на кроля глиссерную прыть,
лишь чтоб чуток себя взбодрить.
Плыву,
пока
близ островка,
где побывал итакский плут,
не замечаю риф...

А тут

глубокий вздох
и...

«Чтоб ты сдох!» -
кричу,
поскольку альбатрос
тут делает...балласта...сброс

(и как вам, мисс,
сей эвфемизм?!),
сброс – мне на темя,
и сползать
тот начинает на глаза!
Скорей – рукой,
водой морской –
отбросить, смыть небесный дар!
А, между прочим, так всегда:
лишь в глубь иль в высь
решусь без виз –
шмяк сверху по башке лихой...
(добро б оглоблей иль клюкой)...
Но... что мне грот? –
не жмёт, не трёт.
Что мне секреты nereид?
Не заливаает, не горит.
Всё это блажь.
Представь, на пляж
вступаю.

Зной.

Но я продрог.
Тут кстати был бы пунш иль грог,
иль коньячок...
Всё, всё – молчок.
Согласен загодя с тобой.
Я (хоть на чей-то взгляд плейбой)
всегда готов,
как славный тов.,
поднять за трезвость от глубин
(что где-то возле Филиппин)
до самых звёзд...
Ну чем не тост?

Твой тихий смех – родня монист.
Ты говоришь: «Угомонись».
Словцо «Учёт» -
будь ты сам чёрт,
а не какой-то там атлет –
тебе никак не одолеть.
А ведь оно нанесено
губной помадой на стекле,
за коим так, что луч поблек,
блестит остро
бутылок строй.

Так что угомонись, дружок.
И в угол не косись ужю.
А взгляд твой - вниз
и повинись
пред обвинённым горячо,
кто был, однако, не при чём,
летавший не
в той тишине.

Да, не при чем был альбатрос,
при чём же...олимпийский босс,
великий Зевс!
Ведь знают все
его любимый старый трюк:
преображаться в смертных вдруг –
от мотылька
и до быка!

А чем ещё известен Зевс?
Да тем, что в рёбрах, в каждом – бес.
Считай, не бог,
а бесов блок!

И вот летать надумал он,
и в то ж мгновенье оперён,
крылат, хвостат,
клюваст...
И – старт!

Взлетел, летит к очередной
избраннице семьсот седьмой.
Торопит зуд...
И вдруг внизу,
на синей шири,
 близ пятна
цветного – точка одна.
И малость ту
крутой летун
увидел, словно в телескоп
ведь он же бог,
 притом морской
почти орёл
(коль вжился в роль)!
Увидел твой глубокий вдох –

намерений дурных вещдок...
И тут же Зевс,
уразумев,
что совершить готов малыш,
воскликнул мысленно: «Шалишь!»
и мигом пыл
твой остудил.

Вот так-то.

Лишь в одном ты прав,
что надо сверху ждть потрав –
вплоть до комет –
в любой момент.
Но к этому невинных птиц,
от молчаливых единиц
до шумных стай,
не прилетай.
Ведь те, что сверху нам вредят,
богоподобны все на взгляд,
вестимо, свой,
дневной совой
одолженный до первых звезд
по шёпотку того, чей хвост
в пятьсот колец...
Ух, я в конец
заговорила...

Вот скажи,
воображенья виражи
и антраша,
они...страшат?
Смешат?

Иль так...как ветерок,
лишь обдувают нас не в прок?
Ну! Отвечай!
О чём сейчас,
девичью слышу чепуху,
ты думал?

Ну? Как на духу!»

И пару раз
моргнув от фраз,
столь неожиданно прямых
(почти что сильный джеб под дых),
произношу,
что твой ашуг:

утаил, что в реально-строгом
и одновременно виртуально-праздничном
искрящемся зале
нет-нет да и мелькала некая тень.
Впрочем, почему – некая?
Тень для меня вполне определённая –
предчувствие нашего расставания.
А вот с какой-такой стати
она, эта тень, появилась –
я не догадывался.
А мог бы догадаться,
если бы не пропустил мимо ушей
твои вопросы о «виражах» и «антраша»...

Позже и, увы, запоздало
я догадался,
что наш тогдашний вычурный трёп,
пустое поигрывание мускулами интеллекта
противны жизни и не прощаются ею
(жизнь, она – злопамятная).
Будь я своевременно догадлив,
ты бы не рассталась со мной.
И с родиной бы не рассталась.

Каково было тебе решиться на эмиграцию,
тебе, которой и Москва казалась чужбиной?
«Это город-живоглот» -
писала ты мне из первопрестольной
и далее: «Как я тоскую
по родной заволжской улице...»
(Строго, без сантиментов говоря,
родной-то тебе была улица Гончарова –
центральная
а по окраинной, заволжской, ты проплывала –
непостижимо умудряясь
проносить иссиня-чёрную прическу,
как купы белоснежных парусов –
только от автобусной остановки
до моей каморки.
Сетовала: «Не с кем перекинуться парой слов
на английском,
как-никак мой второй родной язык...»
Презрительно морщилась, слыша отовсюду
уныло-злобную матерщину...
Гордо, победно улыбалась,

слыша иногда вслед: «Раскрасавица!»
А я помалкивал, не говорил,
что на комплименты тебе горазды
не какие-то сторонние граждане,
а пожилые бабёнки из нашего цеха...
Правда, однажды мы услышали восклицание,
которые ты надолго запомнила,
восклицание незнакомой реликтовой старушенции:
«Само очарование!»)
Улица моя мало изменилась.
Разве что стены всё больше облупились
да в матерщине меньше уныния, больше злобы.
Зато тополя высятся
ещё могущественнее и отстранённое.
А облака над ними те же...

Помнится, ты сказала по пути к остановке:
«Вот ты - талант, так опиши облако,
вот это, над нами...»
Я покачал головой: «Не по плечу мне.
Облако над нами несказанно...»

Как и это облако, на которое я гляжу,
спустя годы и годы, - один.
Интересно, куда оно движется?
На запад или на восток?
Так и так до тебя не дотянет.
По пути несчётно полей, рек, лесов,
мегаполисов и городишек и –
если на запад – Атлантический океан,
если на восток – Тихий...

3.
О облако! И лепно, и летуче,
и осиянно в выси голубой,
но скоро станет плакальщицей-тучей
над чьей-то незадавшейся судьбой.

Не обольщаюсь я – не над моею,
не стою слёз кристальных дождевых.
Ведь приспособляюсь, как умею,
один из многих, якобы живых.

Где жеребёночьи лихие взбрыки? –
Расчётливость с опаской заодно.

Кричали чайки, рокотал
прибой то громко, то негромко
на мерно движущейся кромке...
Порой белела нагота
купальщицы невдалеке,
купальщицы, должно быть, юной...
Порою проходила шхуна
неведомо куда и с кем...

За годом год, за годом год...
И втуне слух, и втуне зренье –
не видел он полёт сирены,
не слышал, как она поёт.

Он поседел, ослаб, усох.
В прорехи старого камзола
и в туфли, белые от соли
жучки забились и песок.

И только в свой последний час
он вдруг узрел: над морем, слева,
к нему летела птицедева,
летела, радужно лучась.

И сердце чудика само
навстречу взмыло в нетерпенье!
Он не успел услышать пенье
сирены (век уж как немой).

Блажен, кто умер до того,
как был исторгнут из гортани
восторг,
до сбывшихся мечтаний,
до пустоты той роковой.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СОФОКЛ»

неосекстина

Как пахарь, полунаг.
Но в веках – высь...
Взгляну-ка
на подпись...Странный знак.

Вопрос повис...
Ни звука
в тиши сей гробовой.
И вдруг аккорд
страшнейший!
И – вижу одного,
а слышу хор
старейшин:

«За счастьем по пятам
на наш порог
скок горе!
И слышно тут и там:
«Се Рок, злой Рок!»
И вскоре
уж каждый смотрит вверх,
бел, как стена,
с испугу,
на Гелиоса сверк,
на тучку, на
пичугу...

А если б посмотреть
в себя, в ума
извивы,
то все...не все – пусть треть
узрит туман
червивый.
Узрит - в себе! – исток
и зла и лжи,
и горя...
А Рок, он не жесток,
не заслужил
укора.

Зло порождает зло.
Побит рекорд
гусыни...
Как Фивам повезло!
Ведь город горд
доныне
царем, что ослепил
себя в сердцах,
как варвар,
за давний злой свой пыл

и за отца
коварство».

БОГИНЯ И СМЕРТНЫЙ

(касательно картин Джорджоне, Тициана,
Тинторетто, Веронезе, Пуссена
и других художников, изобразивших
Венеру и Адониса)

белая (почти) поэма

Татьяне и Нинель Лотоцким

Что любовь вытворяет со смертными –
кто не слышан?

Но послушайте,
что сотворила с богиней любовь.

Чтоб возлюбленного удержать при себе
и тем самым

от расправы,
от гибели верной и лютой спасти,
обнажилась Венера донельзя,
отбросив покровы –
с пышных прелестей,
с чувств,
с многогранного прошлого –
прочь.

Поначалу Адонис,
столь вешнюю видя телесность
и впервые
столь пылки слыша признанья в любви,
позабыл об охоте
и, мельком, рассеянно глянув,
отослал псов понятливых
жестом, заметным едва.

Тут богине бы снова собой стать,
небесно-высокой,
что себе на уме
и в пронзительно-сладостный миг.
Да куда там!
Венера, очами сияя безумно,

после слов:

«...ненаглядный мой, дивный, навеки твоя»,
без какой-либо паузы
вдруг завела речь о бурной,
всполошившей когда-то
затучный лощеный мирок,
связи с Марсом,
драчливым и хриплоголосым угрюмцем,
чьи шаги
часто путают все
с забиванием свай
(тут довольство послышалось вроде бы
в речи богини,
вроде бы – потому что мгновенно,
как чёрной волной,
то довольство накрылось
кромешным небожеским страхом),
с Марсом, злобой настолько наполненным,
что аж торчит
из прижатых ушей его оная злоба пучками,
да, пучками негнущихся глянцево-чёрных волос
(тут-то в голосе
страх с отвращеньем
сплелись воедино).

Этот Марс,

если смертный ему хоть чуток досадит,
убивает беднягу, ничуть не колеблясь...

Венера

в подтверждение столь непреклонно-убийственных слов
так, однако, негрозно,

так мило рукою махнула,
что суровый Адонис улыбку не смог погасить.

И растерянно смолкнув,

богиня в ответ улыбнулась.

Тут-то надо бы и образумиться ей наконец!

Нет! Увы!

Покачав головой в накатившем вновь страхе,
с тем же самым опасно-безумным сияньем очей,
обнажённая внешне богиня поведала быстро,
второпях запинаясь,

ну будто боясь опоздать,
о другой, столь же громкой,

при этом не столь отдалённой

и не столь вызывающей связи любовной своей
с Аполлоном,

изящным и пленительно-томным красавцем,
чьи шаги мелодичнее струек хрустальных ручья,
у кого...нет, не уши, какие там уши! –

Ракушки,
перламутром мерцающие даже сквозь полутьму
(тут уж в сбивчивом голосе

явно звучала издёвка,
правда, сразу ж покрытая
прежнею чёрной волной),

с Аполлоном,

который настолько, гордец, чистоплотен,
что не терпит пылинки на лёгкой одежде своей
(состоящей порою из фигового лишь листочка),
точно так же не терпит и самых пустячных обид,
несогласие – робкое даже – его возмущает,
оппонентов

(порой лишь на свой подозрительный взгляд
он унижить и ранить старается всячески,

если ж
он гордыню свою мелкой злобностью не ублажит
то способен вполне,

как и сумрачный Марс,
на убийство!

Тут стремительно-сбивчивый голос Венеры опал
и богиня,

взглянув вверх, за кроны,
с нежданной опаской

полушёпотом

(право ж, совсем как земная жена
своему осмотрительному дорогому супругу –
неотложный, таящий большую опасность секрет),
досказала, что ей в Аполлоне казалось дурным:
мол, готов он, изысканнейший,

погубить беспощадно
не одних только смертных
(которых спровадил в Аид
уж несчётно!),

но даже богов!

И не будь те бессмертны,
на Олимпе давно бы остался один Аполлон!

Так Венера, бледна,

в состоянии, близком к безумью,
горячо говорила...

А что же Адонис?

А он

молча слушал возлюбленную

и, увы, становился

с каждым мигом при этом

отстранённое и холодней.

Псы, конечно, почуявшие даже на расстоянье
настроенье хозяйское,

медленно, по одному

вновь приблизились,

но показать постарались (удачно!),

что они мимоходом, случайно сюда забрели.

Но способна ли та,

что на грани безумья,

заметить

охлаждение друга, тем более, умысел псов?

И к тому ж всё, о чём,

торопясь и сбиваясь, Венера

тут поведать успела возлюбленному молчуну,

оказалось преамбулой только,

о самом же главном

возвестила богиня,

срываясь на жалобный крик:

мол, два бывших её воздыхателя,

Марс с Аполлоном,

посчитали себя оскорблёнными кровно,

прознав,

что их пассия давняя

счастлива ныне со смертным.

И они,

выносившие прежде друг друга с трудом,

потянулись друг к другу теперь,

будто братья родные

после долгой разлуки,

с улыбищами до ушей

(а ведь Марс улыбающийся –

несусветное нечто!)

и легко (что ни фраза –

то мигом ответный кивок)

сговорились...

«О чём?!

Да о том, ненаглядный, -
прокричала надрывно она в ледяное лицо, -
как тебя растерзать!

Обратившись для этого в вепрей,
красноглазых, горбато-клыкастых,
и дремуче-тупых,
рыщут по лесу,
яростно хрюкая,
Марс с Аполлоном!»

Распрявился Адонис,
лицом потеплел, помилел,
но глаза его сузились
и заблестели престранно.
Псы притворство отбросили
и – тут как тут,
толкотню
веселясь, учинили вокруг своего господина.

И Адонис – с усмешкою – заговорил наконец:
«Вот и псы мои умные чувят,
сколь славно сегодня
поохотиться нам на свирепых зверюг предстоит!»

«Нет! - вскричала Венера
и судорожно обхватила
ненаглядного друга,
свинцово повиснув на нём. –
Нет, Адонис! Остайся!
Ты – смертен!
Они же – бессмертны!
Да пойми же, пойми, что бессмертны те вепри,
а ты...»

Но Адонис разъял осторожно венерины руки,
наклонился и, наскоро, холодно поцеловав,
отстранил от себя несравненную,
даже легонько
оттолкнул,
опустив, полуобморочную на траву.
Повернулся и – в чашу,
красивый, бесстрашный и гордый,
в окружении верных –

до вздоха последнего –

ПСОВ.

Застонала Венера

и будь она бабой земною,
потеряла б спасительно тут же сознание...
Не дана олимпийке была эта слабость во благо.
И богиня по травам, по сучьям по колко-сухим
ошалело каталась,
телесной не чувствуя боли...

А меж тем, Купидон пробудился в сторонке,
потёр
кулачками во сне разморённые вялые веки...

И вот уж он, кудрявый,
порхает между крон
щебечущей дубравы –
и резв, и возбуждён.
Слегка блестят глазёнки,
а зубки не слегка,
когда он в щебет звонкий
вплетает смех свой, как
серебряные струнки...

Вдруг видит: по росе
идёт тяжелорукий
огромный дровосек.
Идёт туда, откуда
протяжный слышен стон.
Знать, скоро златокудрой
замечен будет он.

И крылышками рьяно
тут замахал пострел,
пронёсся над поляной,
на сук большой присел.
Взял лук наизготовку
с сверкающей стрелой –
явив при том сноровку
и умысел незлой.

Лишь вышел на поляну
верзила, косолап, -

на своём прекрасном празднике по сути
выглядит вот так - не то чтоб очень бледно,
а, пожалуй, даже равною нулю.

Впрочем, не однажды сценки в этом роде
приходилось наблюдать (увы, без путти)...
А фламандец одарен, нет слов, победно,
но такой ли уж он круглый жизнелюб?

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «РУИНЫ»

неосекстина

Руины на взгорье.
От храма –
лишь стены.
Чернеют – как горе,
как рама
растений.

Руины под солнцем
Но – знобко
в июле.
И рядом пасётся
не робко
косуля.

Тут впору прощенье.
Но поздно
поспели –
как будто священник
к тифозной
постели.

Тут впору прощанье.
Но – слишком
остыли,
пока упрощали
мыслишки
простые.

У КАРТИНЫ ТИЦИАНА

«ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ»

октавы

Похоже, что усач бубнит правдиво.
И нет, как вижу я, сомнений в том
у тех, кто пред картиною толпится,
в усатом франте гида обрета.
Выходит, что же?

Солнечное диво –
Отнюдь не ослепительный фантом,
не утренняя грёза живописца,
а дочь его, любимое дитя.

Как человек победно я ликую.
Мне кажется, померкли небеса,
но сам зенит на несколько мгновений
лучом венецианским осиян...
Зачать ТАКУЮ, вырастить ТАКУЮ,
а после ТАК ТАКУЮ написать –
способен, чёрт возьми, лишь трижды гений!
О Тициан!

НЕРОНУ С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

катрен

Как рубль мой, что отнюдь не при нулях,
Всего один вопрос, притом короткий:
скажи, кто твой сосед по сковородке,
не мой ли гениальнейший земляк?

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «КОНЬ В СЕНАТЕ»

триолет

Но конь в сенате – это не позор,
он, конь, не карьерист, не лжец, не дурень.
Калигула – мерзавец по натуре,
но конь в сенате – это не позор.

Мы из избы своей выносим сор
и глядь-поглядь – он весь на верхотуре!
Но конь в сенате – это не позор,
он, конь – не карьерист, не лжец, не дурень.

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ДРАКОН»

рондо

А был он ящеркой.

На плоском валуне
бывало, нежился, миролюбив вполне,
под вешним солнцем...

Но по всей округе
бродили разномастные зверюги
и злобно щерились, пока что в стороне.

И как-то зуд и боль он ощутил в спине,
то прорезались крылышки, упруги...

И вот уже под ним дубы и буки!

А был он ящеркой.

Увы, не обошлось без зла и в вышине:
взлетели из ложбины стрелы, злей слепней...

И вдруг застыли лучники в испуге:

навис дракон, неведомый науке,

и пламя изрыгнул, осатанев!

А был он ящеркой.

ЭЗОПУ

(с одноимённой картины Веласкеса)

Поседел и усох,

но пока не усоп,

посему,

хоть на волю отпущен давно ты,

всё еще ощущаешь, бедняга Эзоп,

незаметные вроде бы вовсе тенёты.

Ты ж не лёгкий эфир с многоцветных лугов

и не облачко на голубом небосводе,
ты, урод гениальный, избранник богов,
будешь только посмертно – свободен.

К КАРТИНЕ ВЕРОНЕЗЕ «НАЙДЕННЫЙ МОИСЕЙ»

октавы

1.

Дочь Фараона ныне безымянна.
Не разглядеть в дали веков туманной
забавно-угловатый иероглиф,
что означает имя девы сей.
(Зато доцент, чистюля бледнолобый,
покажет нам по картам учпособий
зигзаги всех тропинок ли, дорог ли,
по коим вёл народ свой Моисей).

И чем она пленяла (коль пленяла)
мужчин, будь царедворец иль меняла?
Художники, таланту сообразно,
ответить попыталась на вопрос.
Так, юную царевну Веронезе
изобразил изнеженной донельзя,
донельзя золотистой и прекрасной
(недаром же в Вероне пылкой рос!).

Но египтянка и – златоволоса?
С каких времён такое повелось, а?
Знать, мастер, пред подружкой млея немо,
дочь фараона ею заместил.
Был, был у живописцев этот пунктик:
своих возлюбленных, (порой распутных)
изобразать в коронах, диадемах,
а то и нимбах (Господи, прости!).

Всё сказанное мной – третьестепенно.
Так, ветерком сдуваемая пена.
А глубину картин в подобном стиле
измеришь вряд ли пядями во лбу.
И всё ж царевны доброта и нежность,
и красота – и красота, конечно! –
в какой-то мере predeterminedили

пророка небывалую судьбу.

2.

В корзине малой, как гнездо сорочье,
на берегу глухом младенец плакал –
добыча то ль шакала, то ль дождя,
то ль волн прибойных, то ли грифа злого...
И думается мне, что не пророчил
ни звездочёт, ни жрец и ни оракул:
мол, вымахает кроха та в вождя,
в высоком, истинном значенье слова.

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПИРР, ЦАРЬ ЭПИРА»

В музее полугородка –
полусела висит картина.
Пред ней не то что знатока –
нет и отличницы единой.

А было, было: меч сверкал –
как молнии хмельная пляска! –
беззвучно мышцы рассекал
и по щитам искристо лязгал.
Коня копыта всё подряд –
цветы, жуков, людские лица –
давили,
 словно виноград –
ступни босые сицилийца!
И нёсся выкрик в высь и в ширь,
и в глубь,
 побоище итожа:
«О Пирр, великий грозный Пирр!»

Да, было, было так...

И что же?

Теперь на месте ярых битв
поля для гольфа и бейсбола.
Зажав под мышкой пару бит,
в руках же – сэндвичи и пойло,
идёт, улыбчив, толстоват,
потомок Пирра отдалённый.
Зря он с бумажного родства
предполагает стричь купоны.

Зря прах столетний ворошит...
Есть лишь случайный стих поэта,
портрет, чья стоимость – гроши,
да слоган: «Пиррова победа».

ПИФАГОРУ

(с картины неизвестного художника)

Мы, Пифагор, не потому что с виду
загадочный и недоступно строгий,
тебя разглядываем (не в обиду
будь сказано), как ноты – носороги.

Нам, с малолетства в догмы заточённым,
великой представляется шарадой,
что где-то (в эмпириях?) числам чётным
подчинены законы и порядок,
что в каждом третьем (или в седьмом?) бутоне
благоуханных белоснежных лилий
душа погибшей девственницы стонет,
которую туда переселили,
что мрак для звёзд мерцающих лишь фон и
к тому же он, кромешный, безвоздушен,
а звёзды – лишь собаки Персефоны,
что стерегут возвышенные души...

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СТРАННЫЙ НИЩИЙ»

сонет

Богатства их, что по крупице скоплены,
секреты их, которым нет цены,
все злобно и бессмысленно угроблены,
в грунтовых водах все растворены.

И даже их заветы все соскоблены
с пещерной той, сакральной той стены.
Спроси у старца: «Кто такие гоблины?»,
открестится: «Узнай у сатаны!»

Но всё же вдруг на миг проглянет мир иной,

когда багрово-чёрный старый нищий,
что свалкою зарыночной пропах,

при виде кавалькады расфуфыренной
рукой, похожею на корневище,
надвинет на глаза свои колпак.

II

(На раннехристианские идеи и сюжеты с бесцеремонным
вклиниванием современности, будь она неладна!)

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «УТРО В НАЗАРЕТЕ»

Так мимо стен, убогих, безоконных,
за коими как будто – ни души,
и мимо хмурых римлян верхоконных
она ступала в утренней тиши

и так на слабеньком плече исконно
громоздкий грубый высился кувшин,
и ветер, налетевший с гор, с разгона
вдруг прядь её так робко распушил,

что три посланца, в узенький проём
меж облаков следившие за ней
давно уж – с первых из неровных улиц,

тут с пониманием переглянулись

и, утвердившись в выборе своём,
в заоблачной исчезли тишине.

КАСАТЕЛЬНО ФРЕСКИ ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО «БЛАГОВЕЩЕНИЕ»

терцины

Приблизясь странною походной
на три, четыре ли шага,
к Ней ангел обратился кротко.

Она, бледна, пряма, строга...
Не радовалась вести горней,
но начинала постигать...

И вот всё изменилось в корне:
мир драхм и выгоды прямой
предстал – предательства позорней.

Мир скорби и нужды немой,
мир, в коем на каменья сеют
предстал одной большой семьёй.

Родной семьёй, своею.

К КАРТИНЕ РАФАЭЛЯ «ОБРУЧЕНИЕ МАРИИ»

триолет

Здесь лишь Иосифа ступни босые
нас приближают на вершок к разгадке.
Прекрасны не одежд контрастных складки,
а лишь Иосифа ступни босые.

Нисколько о грядущем Божьем Сыне
в благообразье этих красок гладких.
И лишь Иосифа ступни босые
нас приближают на вершок к разгадке.

К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО

«ПЕРЕПИСЬ В ВИФЛЕЕМЕ»

триолет

В Вифлееме перепись шла точнее точной
(«Всех, мол, перепишем, вплоть до кисок!»).
Нервничал Иосиф: путь не близок! –
В Вифлееме перепись шла точнее точной.

Не замечен Он лишь был в той толпе проточной
Скрыт во чреве, не внесён был в список.
В Вифлееме перепись шла точнее точной
(«Всех, мол, перепишем, вплоть до кисок!»).

К КАРТИНЕ ГАДДИ «БЛАГОВЕСТИЕ ПАСТУХАМ»

октавы

В ночи, безлунной и беззвёздной,
под гробовыми небесами
и при наплыве знобкой стужи
с пустых, безжизненных плато,
на ложе жёстком и навозном,
бок о бок с овцами и псами,
глубок и тёмен сон пастуший,
как тот подпочвенный поток.

В ночи, беззвёздной и безлунной,
под небесами гробовыми
вдруг – будто солнечные блики
на дальней замерзшей листве!
И – будто зазвучали струны!
И вот он, зримый даже в Риме,
над пастбищем ночным – великий,
невыразимый горний свет!

Проснулись пастухи – в испуге
почти до умопомраченья.
Глаза ладонями прикрыли,
едва-едва дыша уже.
Но видят всё ж в неровном круге,
в ядре ярчайшего свеченья
архангела-золотокрыла,

его любимый жест.

И слышат пастухи: «Не бойтесь.
Благая весть вас будоражит:
родился в эту ночь спаситель
неподалёку.

Час спустя
обрящут овцы водопой здесь.
А вы оставьте псов на страже
и до рассвета поспешите
в пещеру, чтоб узреть Дитя...»

Так в Вифлееме, на отшибе,
той ночью зимнею кромешной
свет рассиялся, тьму рассеяв,
потом забили родники.
И свыше весть – не по ошибке,
а с Божьим умыслом, конечно, -
услышали не фарисеи,
а труженики-простаки.

ПРОСТОЛЮДИНАМ С КАРТИНЫ КОРРЕДЖО «ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ» («СВЯТАЯ НОЧЬ»)

октава

Сияние Младенца одинаково
с сияньем солнца майского в лазури.
Да, право ж, одинаково, однако вот
взор не слепит, не греет чересчур. И
поэтому глаза свои не надо вам
ладонью заслонять иль робко щурить.
Вам надо с любопытством оглядеться –
мир стал иным в сиянии Младенца.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ БОТТИЧЕЛЛИ «ПОКЛОНЕНИЕ ЦАРЕЙ»

октава

Цари склонились с кротостью овечьей.
И, кажется, что тишь вокруг благая

и сладостно благоухает мирра,
и лишь Младенцу уготован трон...
Но внекартинный зритель недоверчив,
легко и приземлённо полагая,
что каждый царь в какой-то мере Ирод,
а если и не Ирод, то Нерон.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ РЕМБРАНДТА «БЕГСТВО В ЕГИПЕТ»

два триолета

1.

Самая первая эвакуация
в эру, что новой с надеждой названа.
Сумрак, трусца ишачка безотказного –
самая первая эвакуация.

Посеребрила – замечу лишь вкратце я –
бороду плотника, сроду не праздного,
самая первая эвакуация
в эру, что новой с надеждою названа.

2.

Ночью, в неведомый, чуждый Египет,
по бездорожью, по бездорожью.
Чтоб уберечь Его, Искорку Божью –
ночью, в неведомый, чуждый Египет.

Что ж, если искорка вправду, бегите,
чтоб не попасть под пята носорожью,
ночью, в неведомый, чуждый Египет,
по бездорожью, по бездорожью.

К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «ПРОПОВЕДЬ ИОАННА-КРЕСТИТЕЛЯ»

октава

Почему же на лесной поляне,
а не в грандиозном мрачном храме
людям говорит о Божьем Сыне
Иоанн?

Вот первая из версий:
здесь пичуги певчие и лани,
белочки и ёжики с бобрами,
главное же: рядом здесь осины,
вяза и дубы – единомерцы.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ПУССЕНА «ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ»

триолет
и белые стихи

1.
Младенцев убивали в Вифлееме.
А Ирод кушал в Иерусалиме
и не следил, как с выкриками злыми
младенцев убивали в Вифлееме.

Мужи, с минутой каждою смелее,
с минутой каждою неумолимой,
младенцев убивали в Вифлееме.
А Ирод кушал в Иерусалиме.

Лет двенадцать иль тридцать назад
убийцы младенцев невинных
младенцами были такими ж.
И это оспорить нельзя.
Признаем, натура людей –
гораздо жесточе звериной.
И значит, спасён от кинжала,
Христос обречён был на крест.

А Ирод, кто он? – Психопат.
Скорее всего, и склеротик.
Сначала напуган волхвами,
и их ослушанья затем
до самых кишок уязвлён –
«Убить!» - завопил.

Но на завтра
о вопле своём истеричном
забыл, уязвлённый иным.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ КРАНАХА

«САЛОМЕЯ»

два триолета

1.

В улыбочке скрывается змеиность
(хоть змеи улыбаться не умеют).
В толпе встречая, каждый раз немею –
В улыбочке скрывается змеиность.

В грядущих днях (имея зренье в минус)
Гер Кранах разглядел всё ж Саломею.
В улыбочке скрывается змеиность
(хоть змеи улыбаться не умеют).

2.

Отсечена пророка голова,
но рот бескровный приоткрыт, вещая.
Не злобствую уже из-за прыща я –
отсечена пророка голова.

И слышу я беззвучные слова,
слова прощения, слова прощанья...
Отсечена пророка голова,
но рот бескровный приоткрыт, вещая.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВАН ЭЙКА «МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ В ЦЕРКВИ»

октава

Тут подлинный младенец – сам художник.
Поскольку с изумлением, ликуя,
глядит на мир, глядит, как в первый раз.
И всё, что видит, всё, вплоть до ничтожных
подробностей, с беззвучным «Аллилуйя!»,
всё – на холсты и вроде без прикрас,
однако ж всё контрастней и искристей...
Но Божий Сын ван Эйку не по кисти.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО «БРАК В КАНЕ»

Да вот забыли (годы, годы!) шахмат...
как бы сказать точнее...лейтмотив:
просчитывать десятки вариантов.
(Схожу-ка пешкой я...

А он тогда –

Ладьёй...

А если я...А он...А если...)

Всегда стремится думать шахматист
и за противника, а ведь противник
пред ним всего один.

А если их,
противников, сто с гаком миллионов,
как у неё, у власти нашей, а?
Да ладно бы задействованы были
в игре той лишь противники...Так нет!
Помощники ещё. Верней, пожалуй –
пособники. М-да, слово-то с душком
преступным...

А пожалуй, а пожалуй...

Как кстати вспомнилось, что в старину,
в лихие добогдановские годы,
на Украине, что была, увы,
в составе мощной Речи Посполитой,
такая поговорка родилась:
«Не так паны (гнетут, мол), как подпанки».
Так вот, «подпанков» этих миллион
вдруг выявился в наших палестинах,
когда на стенах,

вдоль и над шоссе,
повсюду заалели транспаранты:
«Решение ЦК КПСС –
в жизнь!»

И они, «подпанки»,
те, у кого, по сути, нет ушей,
а есть присоски к телефонным трубкам
и щёлкают не только каблуки,
а и носки домашней крупной вязки,
и пёрышки по глянцевым листам
златотеснённых дармовых блокнотов
всегда спешат вприпрыжку, ни на миг
в сомненье иль раздумье не зависнув,
они, «подпанки» наши,

бишь бойцы
идейные, немедля развернули

всечасную упорную борьбу
да по всему, как говорится, фронту!

И сразу же под красную стрелу,
на направленье главного удара
попали свадьбы и призыв «Даёшь
безалкогольные!» вознёсся в небо.

Как там у классика? – «И я там был ...»
А справа трезвенник сидел завзятый.
И я ему, сердешному, шепнул:
«Будь начеку, пельмени не в бульоне,
а водке...»

Как он долго тряс пельмень
пред тем, как в рот отправить!
Как глазища
таращил после!

Я его, как мог,
подбадривал: «Видать, переперчили...»
Так он, что коршун твой, схватил графин
с коричневой влагой, в коей мирно
круглилась курага,
и свой фужер,
вместительностью этак граммов триста,
наполнил всклень...

Я закричал «Атас!
Там не компот, там марочное...»
Поздно.

До капли выглохтил, стервец, винцо.
Затем недолго посидел, набычась,
и вдруг «Ревела буря...» затянул.

Вот что я вспомнил,
стоя пред картиной
сеньора Тинторетто и дивясь
тому, кто к кравчему пустые чаши –
кто думаете? – тянут...

3.

Общеизвестно же, мужчины – выпивохи
(Вы, сударь, - нет? Виват! На высоте вы).
Что ж – «Наливайте!» - тянут чаши девы?
Общеизвестно же, мужчины – выпивохи.

Тут – чудо, тут возможны только охи.

Не будьте столь вульгарны, внучки Евы!
Общеизвестно же, мужчины – выпивохи
(Вы, сударь, - нет? Виват! На высоте вы).

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО
«ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА»

триолет

Как эта грешница прекрасна!
И, к сожалению, близка мне.
Да чтоб её...ударить...камнем?! –
Как эта грешница прекрасна!

Я любовался ею разной:
и гневной, и без всяких тканей...
Как эта грешница прекрасна!
И, к сожалению, близка мне.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ РЕМБРАНТА
«ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА»

триолет

Прелестна грешница, прелестна и мила.
А покаянная, милей, хоть и бледнее.
Её – и камнем! Да рука окаменеет! –
Прелестна грешница, прелестна и мила.

И ты покаялась бы и, глядишь, смогла
сравняться бы (в глазах эстетов) с нею.
Прелестна грешница, прелестна и мила.
А покаянная, милей, хоть и бледнее.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО
«ХРИСТОС, ОМЫВАЮЩИЙ НОГИ УЧЕНИКАМ»

октава
и триолет

1.
А он натуралист, сеньор Якопо.

Я в этом убеждён, хоть у того,
Кто кротко оmyвает ноги ближнему,
Всенеременно лучезарен взгляд.
Вот так.

И пусть искусствоведы скопом
нависнут над рискованной головой
И с возгласом: «Метлою шикать лишь ему!»
Меня как знатока испепелят.

2.

Доступна всем сияющая высь,
Но так прельщают зланные овраги!
Христос, склонясь, оmyл ступни бродяге –
Доступна всем сияющая высь.

Всё ближе донный мрак...

Остановись!

Вот бомж босой и вот вода во фляге...
Доступна всем сияющая высь,
Но так прельщают зланные овраги!

К ФРЕСКЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

терцины
триолет

...И будто бы беседу подытожив,
сказал: «Один из вас Меня предаст».
Апостолы оторопели: «Кто же?»

И лишь Иуда, мрачен, коренаст,
не задавал ненужного вопроса,
откинувшись, как будто отстранясь

от Иисуса, со скамьёй он сросся
сам, как скамья, сколочен на века.
И кажется, угроза за угрозой

вот-вот с его сорвется языка
сорвутся вместе с брызжущей слюною -
так ненависть Иуды велика!

И не слова Христа тому виною,

а то, что их Учитель произнёс,
спокойно и с печалью неземною,

и то ещё, что говорил Христос,
с прощающими жестами, с наклоном
печальной головы, едва без слёз...

Едва смолчал Иуда раскалённо.

2.

А всё же казначеем был Иуда –
новозаветный первый финансист.
Был Иоанн сметлив и Пётр плечист,
а всё же казначеем был Иуда.

Как правило, убогая посуда,
свеча в наплывах и рушник не чист...
А всё же казначеем был Иуда –
новозаветный первый финансист.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ДЖОТТО «ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»

триолет

Такой же точно профиль с бровью низкой
и те ж ладони, тяжкие, как гири.
Был поцелуй и был не блеск Эсфири -
такой же точно профиль с бровью низкой.

Христос – один, но протяжённость списка
иуд – астрономической цифири...
Такой же точно профиль с бровью низкой
и те ж ладони, тяжкие, как гири.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО «ХРИСТОС ПЕРЕД ПИЛАТОМ»

триолет

Опрятному не виден ореол,
так зреньё у опрятного устроено.
Не против он пророков и героев, но

мой лепет, мой испуг, постыдный крайне,
тогда же Он...в мгновенья те...заранее
меня простил?!» - злосчастливого Петра
вдруг осенило.

Он достал кресало,
зажѐг свечу,
но видел еле-еле –
ведь слѐзы чистые в глазах блестели,
не проливаясь долго – до утра...

КАСАТЕЛЬНО КАРТИН
«НЕСЕНИЕ КРЕСТА»
БОСХА, ТИЦИАНА И ДРУГИХ ХУДОЖНИКОВ

рондо

«Неси свой крест!» - гордится бычьим рѐвом
огромный конвоир с лицом багровым.
И злобно вторят книжник и рыбац,
и ткач, и нищий с пеной на губах...
И падает Он с тем крестом кедровым.

Но издали, сквозь облаков покровы,
сквозь грай ворон и ветра гул в дубах –
«Вставай, Мой Сын, - чуть слышится, - ступай,
неси свой крест!»

Встаѐт Он и идѐт со взором новым,
и изнутри, из самой той основы,
из смертной, что, казалось, так слаба,
за разом раз, звучнее чем труба,
слышны три слова, светлых и суровых:
«Неси свой крест!»

К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО
ШЕСТВИЕ НА ГОЛГОФУ

рондо

Где Он, несущий крест?

А вот...Видать едва.
Прѐт косяком народ – цветистая плотва.
И заняты – кто только чем – все, без изъятья.

Кто демонстрирует своих коней, кто платя
кто умыкает сумку, (ради озорства).

Кто подкрепляется. А кто, придурковат,
раскрыл прилюдно вожделенные объятья...
И, в общем, красочная масса без понятия:
где Он, несущий крест?

С тех пор который век уж миновал. –
Тщеславье, воровства и глупости обвал,
секс, изощрённейший аж до невероятья...
А нет бы, братцы, нам, прервав свои занятия,
полюбопытствовать хотя бы одна:
где Он, несущий крест?

К КАРТИНЕ ГРЮНЕВАЛЬДА «ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА»

узинса

(читается снизу вверх и в данном случае начиная со следующей
страницы, притом без паузы между нижней короткой строкой и
верхней длинной)

неисповедимы...
вестимо,
Но – пути Господни,
сей подвиг.
Ох, вопрос! Некстати
Создатель?
нам пошлёт Его, родного
Но снова
Божий Сын (на то и Божий!).
вдруг ожил
явно вопреки природе,
Так, вроде

лик Христа, с живой улыбкой...
где зыбко –
цвет сменил – на жёлтую ярь горна,
повторно
обдал, а затем (уж в форме шара)

и жаром
(будто все Его открылись раны!)
багряным
стал весьма красивым по окрасу:
но сразу ж
взвихрился метелицей гнусавой,
и саван
С грохотом открылась крышка гроба
Ещё бы! –
стражи пали наземь, вниз носами.
И сами
треснули, как старые орехи
доспехи
каменно-холодных, злых и ражих,
У стражей,

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ МУРИЛЬО
«ВОЗНЕСЕНИЕ МАРИИ»

узинса
(читается снизу вверх)
и октавы

1.
к вспышке...
и выше –
воспарила
Мария
зорь, ветров и тучек
певучих
в несказанное слиянье
в сиянье,
чуя, как свою тоску о Сыне, -
отныне
сырых и всё их долготерпенье
все пени
где любой иль болен, иль унижен,
от хижин,
Жабы и та тварь, что глянуть ввысь не смеет,
где змеи,
выжженной земли, от грязи и от дёрна,
От чёрной

2.

Сдаётся мне, испанский живописец
Марию,
 возносимую столь дружно
голубокрылой стаяй ангелочков
изобразил славянкой ей-же-ей!
О, поносить меня не торопитесь,
а постарайтесь воспринять наружность
Мадонны,
 преднамеренность и склочность
отринуть загодя,
 хотя б пред Ней.

В чертах Её лица не только святость
и красота,
 ещё и миловидность,
та плавная и мягкая скруглённость –
славянская,
 и совершенно нет
ни знойности, ни тайны мрачноватой
и ни чарующей игры в невинность...
В очах же – не сказать определённо –
то ль васильковый, то ли горний свет.

БЛУДНОМУ СЫНУ С ГРАВЮРЫ ДЮРЕРА

(а также отчасти с картин Пальмы Младшего и неизвестного
художника)

неосекстина

Голод – не тётка, как говорится.
И зачерпнуть ты хотел из корытца
то ли рожков, то ль протухшей ботвиньи.
Втуне! Кормушки каждую пядь
ныне готовы в бою отстоять
свиньи.

Слаб ты, мой брат, по сравнению с ними.
Ты, приунувший, гонимый, ранимый,
в сальном камзолишке с жалкою штопкой.
Свиньи ж напористы, гладки, бодры,
свиньи не знают одежд и хандры
топкой.

Как, есть и я среди них?! Который?
Да вот же! – За собратом вслед
над старой штольней,
враскорячь
вцепился в посох...
Мне подумалось, ношу я шоры.
Теперь же ясно мне: я – слеп.
И значит, я прозрел!
Я зряч!
Но – поздно...

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВЕРОНЕЗЕ «СВЯТОЙ ИЕРОНИМ»

триолет

Четыре жерди в роли стен,
и выветрился запах пищи.
Чем занят он, предельно нищий? –
Четыре жерди в роли стен.

Старик над Библией согбен.
Вот почему в его жилище
четыре жерди в роли стен,
и выветрился запах пищи.

УВЯДАЮЩЕЙ РОЗЕ С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Дикая ты роза-недотрога.
Ну зачем, замечем вблизи дорога?

Люди шли, тянули руки сходу...
Но ты отбивала вмиг охоту.

Ты встречала всех подряд шипами,
лишь царапины даря на память.

Только как-то в середине мая
мимо францисканец брёл, хромая.

Молодой, но с прядью убелённой,
замер пред тобой он изумлённо.

Словно пламя, яркою ты стала!
Словно пламя, вся затрепетала
и навстречу потянулась даже...

Постояв чуток, побрёл он дальше.

Что же, что с тех пор с тобой, родная?
Блекнешь, вянешь, лепестки роняя.

III

(На средневековые идеи и сюжеты с примесью современности, без которой, как без углерода в чёрных металлах, ну никак!)

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВОРОН»

Всю пыль из полевой дороги выбили
копыта лошадей, их частый бег.
И кажется, цветные злые вымпелы
плывут над серым сами по себе.

Поодаль, слева от пылящей конницы,
на буке, что горел – не догорел,
сидит спокойно ворон – не хоронится
нисколько от дурных случайных стрел.

Он не труслив, о том не зная даже сам.
И в прежней жизни не трусливым был.
И, кстати, с прежней жизни,
с незадавшейся,
он серую возненавидел пыль.

Тогда, века назад, он был воителем,
как мор, распространялся слух о нём,
и тут, и там божились, будто видели,
как разрубал он всадника с конем!

его пристанища сверкали, крытые
листами золота, в дюйм толщиной!
И на подходах к ним сверкали рытвины,
засыпанные всклень – все, до одной! –
алмазами, нефритом, изумрудами...

Когда он появлялся на тропе,
бывалый конь над блещущими грудями
придерживал копыта и храпел.

Конечно, льнули женщины прилипчиво,
и молча молодняк боготворил.
Но одинок он был в толпе улыбочивой
и сожалел порою, что бескрыл.

Его, того, увековечат гении.
но сам-то он себя, того, забыл.
Забыл оружие...трубы...исступление...
Одно лишь память сохранила: пыль.

Теперь и на мгновение пернатого
не овевает суетой людской.
Богатство? Нет его. Так и не надобно.
Власть. Нет её. Так и она – на кой?
И - слава? Тоже нет. Так и не хочется...

Теперь он вне людских страстей и смут.
Теперь не одинок он в одиночестве.
Теперь он – мудр.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ БОТИЧЕЛЛИ «АВГУСТИН»

полуоктава

«И слово стало плотью,
в неё не превратившись», -
изрёк в четвертом веке
Блаженный Августин.
И даже если краски
он, так сказать, сгустил,
нам надо говорить бы
поменьше и потише.

Что паводок словесный
хорошего принёс нам?
Опомнимся и дальний
усвоим ли урок?
А кто-то...дай Бог память...
ещё мощней изрёк:
«Мол, слово стало плотью
и плотью светоносной».

К КАРТИНЕ БОТИЧЕЛЛИ «ДАНТЕ»

триолет

Глаза – нет и намёка на прищур,
рот – на улыбку нету и намёка.
Он видел ад вблизи, рай издалёка.
Глаза – нет и намёка на прищур.

И ничего ему не чересчур:
ни слава мировая, ни морока.
Глаза – нет и намёка на прищур,
рот – на улыбку нету и намёка.

ВМЕСТО ДВУХ ГВОЗДИК два сонета

1.
Есть имена намного отдаленней,
Однако облики – тут пред глазами.
Чей – под обложкою, чей – в медальоне,
чей – на скаку в тяжелой раме замер.

Когда ж рассыплются, испепеленны,
воссоздадут их ямб или гекзаметр...
Твой облик же исчез, необрамленный,
хоть место его рядом с образами.

Кощунствую? Что ж, грех свой признаю,
однако на своем стою, отринув
разгневанные возгласы и взгляды.

Я вижу – где?, наверное, в раю –
крестьянку молодую Катерину
среди осененной нимбами плеяды.

2.

Как ты жила, когда в себе носила
любви греховной нежеланный плод?
Отмалчивалась и соседней слет,
ежевечерний, этим и бесила.

Порой подолгу, отвести не в силах
туманный взор от быстрых темных вод,
стояла на мосту...Ночь напролет
порой свечу близ ложа не гасила...

И вот в свой час, в чулане, в тесноте,
ты постаралась сделать все, как надо,
хоть круг родни был истерично взвинчен.

И позабыв, что где-то есть отец,
ты назвала ребенка Леонардо,
пока что Леонардо, без да Винчи.

К КАРТИНЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «СВЯТОЙ ИЕРОНИМ»

Столь беспощаден (себе!) приговор,
столь замахнулся неистово старец
дабы булыжником искровянить
хрупкую грудь свою поскорее,
что по-звериному преданный лев
пасть устрашающую распахнул и
боль,
 сострадания братского боль
скалы базальтовые потрясает!

К КАРТИНЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ДАМА С ГОРНОСТАЕМ»

триолет

Сравнишь – она красивей горностая.
(Но кто из них хищней? – Вопрос открыт).

Ох, неспроста звёрек сей фаворит!
Сравнишь – она красивей горностая.

Она, при герцогском дворе блистая,
тропинку к королевскому торит.
(Сравнишь – она красивей горностая.
Но кто из них хищней – вопрос открыт).

НА УЛИЦЕ МИЛАНСКОЙ

диалог

- ...такой уж я мужчина: не терплю дня,
Что не принес удачи и добра.
Что это там блестит слепяще? Лютня?
Неужто сплошь она из серебра?

- Где?

- У фонтана, чей надтреснут цоколь
под парочкою мраморных наяд.
И держит лютню...Экий, право, щёголь!
И где же приобрёл он свой наряд?
Большой берет приплюснут прихотливо
и от него мерцанье – как от звёзд.
Камзол в морских и лунных переливах,
и плащ короткий – как волны нахлёт!

Живём, по счастью, не в глуши безлюдной.
У нас под вечер – щёголей парад.
Но этого, с серебряною лютней,
не вставить и в нарядный самый ряд.
Ты погляди, как держится?! Павлином!
Ума ж, поди, как у павлина – чуть.
Жаль, надо здесь дождаться Смеральдин нам.
А то б – к нему и – малость припугнуть.
- Пойду! Его невзрачный чичероне,
всё больше убеждаюсь, мне знаком
один постой здесь, чтоб не проворонить
красоток, что, как знаешь, с ветерком...

- Он из Тосканы...

То-то сколько фарса!

На сто ломбардцев хватит, ей-же-ей!
- ...и был допущен к Лодовико Сфорца
он как лютнист известный...

- Прохиндей!

- ...и как известный дока по петардам,
по сукнам и иголкам заодно.
А прозывается он - Леонардо
да Винчи...

Вот так имечко! Оно,
нелепое, подходит несомненно
для этого лощеного хлыща.
Однако, глянь, две жрицы Мельпомены
сюда спешат, подолами плеча!
- ...а припугнуть...отыщется ль рисковый?
Земляк шепнул с набитым будто ртом:
«Мол, гнёт тосканец пальцами подковы,
без видимых усилий гнёт притом...»

ГЕРЦОГ ЛОДОВИКО СФОРЦА – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

диалог открыто-скрытный

Герцог

«...статуей облагородим площадь,
к радости всех наших горожан.
(Коль живешь здесь, местом дорожа,
постарайся, кажется, что проще!)»

Леонардо

«Вам все представляют в лучшем свете.
Лишь макет коня готов пока.
(Знаю или нет я рыбака,
сплетшего интриги этой сети?)»

Герцог

«Но макет коня стоит у торца,
ожидая всадника с весны!
(Пусть черты Франческо неясны,
пред тобою Лодовико Сфорца!)»

Леонардо

«Сир! Отныне среди моих проектов
«Всадник» с самым важным наравне.
(Как же! Чтоб на дивном скакуне

громоздился несуразней некто?!»).

ПО ПОВОДУ УТРАЧЕННОЙ ФРЕСКИ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
«БИТВА ПРИ АНГИАРИ»

триолет

Зияла схватка зверская за знамя.
За чьё? Теперь, увы, уж неизвестно.
Известно лишь, на чьей стене помпезной
зияла схватка зверская за знамя.

Жаль, что всего полвека перед нами –
как зеркало зловерное, как бездна –
Зияла схватка зверская за знамя.
За чьё? Теперь, увы, уж неизвестно.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ДЖОКОНДА»
(«МОНА ЛИЗА»)

триолет
и белые стихи

1.
Он женщину писал, писал Джоконду.
А написалась сумрачная Тайна.
Неужто своенравна кисть фатально?
Он женщину писал, писал Джоконду.

Когда лишь намечал легонько контур,
Услышал гомон вдаль летящих стай...Но
он женщину писал, писал Джоконду.
А написалась сумрачная Тайна.

2.
Вот бы на картину «Мона Лиза»
поглядеть глазами...Леонардо.
И к тому же в первые минуты
после завершения картины.
Но...Не то сказал я, извините.
Тут картина, вся картина роли,
как ни странно это, не играет.

Тут – два светильника и меч, а там – весы.
На взгорке – Марс и рядом - старший сын.
Лежат и сохнут, а грозны: всех покорим, мол!

И, право, очень осторожно, как от грима,
от вязкой глины очищаем мы носы
непревзойденной беломраморной красы...
Что ж так печален Рафаэль?

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПОСЛЕ СХВАТКИ»

Смеркается.

Первые звёзды над лесом кудрявым,
над полем, что было недавно куда как ровней.
Теперь же укрыть не способны высокие травы
лежащих вповалку людей и коней.
И странно, наверное, лесу, осинам и грабам:
как так получилось, ведь этим же днем
метались, сшибались здесь
с криками, лязгом и храпом,
ходила, казалось, земля ходуном.
Теперь же валяются все неподвижно и немо,
оружие тусклое рядом (и чаще правой).
Последние стоны и хрипы
ещё под немеркнущим небом
затихли, без отзвука в липкой траве.
Понять ли деревьям причину повальной потравы,
когда им неведомо вовсе понятие «враг»?
Высокие первые звёзды над лесом кудрявым,
над полем в уродливых чёрных буграх.

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВОРОН С ПЕРСТНЕМ»

В оправе золотой
сапфир играет
трёхлучною звездой
на стыке граней.
Сапфиру хоть бы чёрт,
он хладно-весел.
Затейлив, полустёрт
и зелен вензель.

Чей перстень?
 В чьем роду
растил гордыню?

Но ворон не в ладу,
видать, с латынью.
Он клювом подцепил
фамильный перстень
и – в рытвину, где ил,
щепа и плесень.

ОТ ЛИЦА ХОЗЯИНА КОНЯ
С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО
ХУДОЖНИКА
«РЫЦАРСКИЙ КОНЬ»

октава

На страх озлобленным врагам
и всяким проходимцам
мой конь огромен,
 нет преград
и удержу ему.
в нём чутко дремлет ураган,
готовый пробудиться
и сокрушительно взыграть
по знаку моему!

К КАРТИНЕ ДЖОРДЖОНЕ
«РЫЦАРЬ С ОРУЖЕНОСЦЕМ»

сонет

Пред рыцарем, как видно, панорама
такая: дымом тучи сгущены.
Руины дотлевают и от храма
остались чёрных полторы стены.

Вдали ландскнехты, сходны с упырями –
до крови также алчны и темны...
И сжаты губы рыцаря упрямо:
мол, земляки должны быть отмщены.

А за плечом, за сталью воронёной –
оруженосец юный, отстранённо
глядящий...нам неведомо куда.

Но он в предвосхищенье то ли радуги,
то ли иной какой небесной радости
аж пухлый рот свой приоткрыл, чудак.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ КАРПАЧЧО «ЛЕВ СВЯТОГО МАРКА»

катрен

Героически турок в сраженьи морском одолев,
о Венеция,
 зря столь заносчивый герб обрела ты –
право ж, очень удобной мишенью окажется лев,
неуклюже громадный,
 притом неподъёмно крылатый.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ «ДОЖ ЛЕОНАРДО ЛОРЕДАНО»

1998 г.

катрен

Впору рвать на себе одежонку, рыдая.
До чего ж мы, выходит, несчастный народ!
Трезв, спокоен и мудр. Образец государя.
А у нас...ну, точнёхонько наоборот!

ОТ ЛИЦА ПОЭТА СКАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПОЭТ (ПЕРТРАРКА?)»

триолет

Я сплету венок стиха нетленный
на могильный холм любви моей.
В полумраке кельи, без свечей,
я сплету венок стиха нетленный.

Нет, не удавлюсь, не вскрою вены
и не удалюсь за семь морей –
я сплету венок стиха нетленный
на могильный холм любви моей.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ТИЦИАНА «АРИОСТО»

сонет

Где рыцари теперь?

В словах компоста,
на коем зреют брюква и бобы.
Дух рыцарства, и тот исчез из тостов
из книг и песен (уж молчу про быт,
где столько крупной, глянцевой, бесхвостой
породы крыс и слизней голубых).
И только близ портрета Ариосто
расслышать можно дальний зов трубы.

И даже можно разглядеть –

сквозь стены,
сквозь мусор и рекламу ширпотреба,
сквозь СМИ и смог –
необычайный вид:

Орландо,

изнурённый и смятенный,
уж пять столетий как забрёл на небо
в маниакальном поиске Любви.

К РИСУНКУ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПИШУЩИЙ ПЕТРАРКА»

секстина

Зачем секстина тяжкая Петрарке,
когда легко освоил он сонет?
Что, оный не выдерживает жаркий
накал любви и яркой мысли свет?
Иль для грядущей триумфальной арки
недостаёт блистательных побед?

И то, и это. Мало их, побед,
весьма честолюбивому Петрарке,
и о подобье триумфальной арки
всплывает-таки мысль. И мал сонет,
он просто не вмещает мысли свет,
равно как и накал любовный жаркий.

Однако же порой закат нежаркий
пригляднее, чем фейерверк побед.
Да и луны неверный бледный свет
порою безрассудно люб Петрарке.
(И для обоих как родной – сонет,
и впору свод любой победной арки).

А радуга сто крат прекрасней арки –
ввергается поэт в восторг, столь жаркий,
что, раскалён, чуть держится сонет...
Ах, всё не то!

Совсем иных побед,
иной любви недостаёт Петрарке.
Совсем иной ему забрезжил свет.

Да, дивнозвучный дальний горный свет
(который, кстати, не выносят арки)
всё более необходим Петрарке.
И остывает пыл сердечный жаркий,
и тихо меркнет блеск земных побед,
и кажется забавою сонет.

Секстина замещает тут сонет.
Она вмещает этот горный свет,
в котором оседает пыль побед
и на руины триумфальной арки,
и на любовный пепел, прежде жаркий –
так мнится престарелому Петрарке.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ТИЦИАНА «ЗНАТНЫЙ ВОИН»

октавы

Как властен и как грозен этот воин!
Благодаренье небу, не оскален,
как розоватый, в крапинку дракончик

со шлема, что на валуне пока.
И пёс великой чести удостоен –
стоять у ног, как у отвесов скальных, -
за то, что он всегда готов прикончить
подранка, хоть косулю, хоть нырка.

Но почему вот – не сообразил я –
здесь Купидон, крылатенький мальчонка?
Для шалостей своих? Нет, лук и стрелы
валяются никчемно на земле.
А сам малыш, не глядя на верзилу, -
у валуна, пытается ручонкой
коснуться шлема...

Да не угорел ли?
На шлеме ведь дракоша, злого злей!

Н-да...Всё ж взглядеться надо попытливей
в лицо, которое настолько властно...
А пострелёнок прав: для целей лучших
златые стрелы стоит приберечь!
Вдруг в долго ожидаемом наплыве
сообразительности, стало ясно:
сей сумрачный воитель – подкаблучник!
О чём ещё, как не об этом, речь?

УНДИНЫ

(по картине неизвестного художника «Вечер на побережье»)

баллада

...А порой, в вечерний вечер лунный,
граф все свечи зажигает сам.
И тогда с невидимой лагуны
ветерок доносит голоса.

Значит, вновь от неги в томном иле,
от придонных сумрачных причуд
беспокойные ундины всплыли
в мир, что притягателен, но чужд.

Голоса морских красавиц глухи,
но, расслышав их, толпа задир
замирает, а потом в испуге

устремляется опять в трактир.

И матроны, набожные клуши,
на верандах попивая чай,
крестятся и затыкают уши,
дабы не расслышать невзначай

неразборчивые поначалу,
даже слышимые-то едва,
но такую неземной печалью
овеваемые слова:

«Окна снова нас заморозили,
жёлтые и тёплые во мгле.
Будто бы и мы там жили –
на столь чуждой нам теперь земле.

Будто бы когда-то в том палаццо
по привычке девичьей чудной
нам случилось нежно улыбаться.
А кому – припомнить не дано...»

К КАРТИНЕ ЭЛЬ ГРЕКО «ВИД ТОЛЕДО»

октавы и триолет

1.

На ревности, как будто на точиле,
оттачивают здесь порой кинжалы.
Из честолюбья, как из змей гремучих,
Здесь извлекают смертоносный яд.
А скольких здесь в темницу заточили
а скольких здесь до смерти продержали!
А скольких, предварительно помучив,
сожгли, иль утопили, иль хотят.

Здесь деревья угрюмы, как бастарды,
Еще угрюмей и мрачней соборы.
а многие дома здесь, точно склепы
(в них умирать, наверное, легко).
Здесь неувечных нет идальго старых,
зато старухи – как с моста опоры.
Но не прощающее над всеми небо
с тяжелою угрозой облаков.

2.

Когда над городом висит проклятье,
в том и величье есть и красота.
Сошла – в подполье, в норки суета,
когда над городом висит проклятье.

Собора шпиль и донна в черном платье,
и старый граб надменны неспроста.
Когда над городом висит проклятье,
в том и величье есть и красота.

К РИСУНКУ ВЕЛАСКЕСА «ГОЛОВА ОЛЕНЯ»
триолет

Рога – как сонм ветвей в конце зимы,
глаза... глаза мне кажутся родными.
И может... может, неспроста над ними
рога – как сонм ветвей в конце зимы?

Доколе буде кровожадны мы?
Доколь в роскошных рамах лишь хранимы
рога – как сонм ветвей в конце зимы,
глаза... глаза, что кажутся родными?

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВЕЛАСКЕСА
«ВОДОНОС»

триолет

Что благородней и святей воды?
Вглядитесь в корсиканца водоноса
и отпадёт тут надобность вопроса:
что благородней и святей воды?

Пусть ураган Создателя следы
замёл у родника и вдаль унёсся...
Что благородней и святей воды? –
Вглядитесь в корсиканца водоноса.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВЕЛАСКЕСА
«СЕБАСТЬЯНО МОРА»

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВЕЛАСКЕСА «МАРКИЗ БОРРО»

октава

Ещё не прочитав названья: «...Борро»,
невольно восклицаешь: «Ну и боров!»
Хотя верней, свинья пред опоросом.
Но всё одно: тупее нет скотины.
На кой же чёрт сдалась Вам, дон Диего,
сия пародия на человека?
Но гид тут поясняет: «Под вопросом
который век уж авторство картины».

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «УТРО»

триолет

Декабрьское утро совсем как невеста,
поскольку невинно-бело и свежо.
Фатой завивается лёгкий снежок...
Декабрьское утро, совсем как невеста.

Куда ж запропал женишок? Неизвестно.
Да тут и не к месту какой-нибудь жох.
Декабрьское утро, совсем как невеста,
поскольку невинно-бело и свежо.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ МУРИЛЬО «ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК»

белые стихи
и триолет

1.
В Мюнхене, в музейном зале,
пред картиной «Детский завтрак»
он стоит – не шелохнётся! –
респектабельный джентльмен.
Гид любезно поясняет:
«В 1720-ом

(этот факт документально
подтверждается) году,
19-го мая
пред картиною Мурильо
лорд впервые появился,
появился и...пристыл.

За минуту до закрытья
деликатный наш служитель
около него покашлял –
бесполезно!

И пришлось
всё ж заговорить негромко:
«Мол, приносим извиненья,
время краткое осмотра,
к сожаленью, истекло».
И на это англичанин
так ответил: «Подождите!
мальчуган, который с дыней,
всё завистливей глядит.
И вот-вот он у второго
едока кисть винограда
вырвет! Этого момента
непременно я дождусь!»

Так и ждёт он – час за часом,
год за годом, век за веком.
И дождётся – у мальчишки
всё завистливее взгляд!»
Так с привычною улыбкой
говорит о манекене
гид, и зрители ответно
улыбаются, но я...

2.
Я б позавидовал обоим,
вдруг окажись – мальчишкой – рядом.
Не из-за дыни с виноградом
я б позавидовал обоим.

Над ними небо голубое,
а не родители с доглядом.
Я б позавидовал обоим,
вдруг окажись – мальчишкой – рядом.

сонет

Лебезят, лебезят, лебезят
за столом, возле трона и ванны.
И сдается, лизать тебе зад
для иных – разновидность нирваны.

Не дерзят, не дерзят, не дерзят,
даже слыша в свой адрес: «Болваны!»
И сдается, понять их нельзя,
коль по сути они деревянные.

Вот указ и подписан тобой,
справедлив, хоть, быть может, суров:
«Ждем поскольку морозы с пургою,

всех придворных как есть – под топор,
с применением в качестве дров,
то есть – с пользою хоть какою!»

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ЗНАТНАЯ ДАМА»

катрен

Глаза её и впрямь подобье ярких звёзд,
Улыбка солнечна...

Но это всё снаружи,
всё на виду. Незрим тщеславья хвост,
который что ни час – длиннее и упруже.

АНКУИН И ПЕПИН

(по картине неизвестного художника
«На дороге»)

баллада

За бурой крепостной стеной,
за стражей строгой
длиннющей лентою цветной
легла дорога.

По ней с утра и до темна
идут и едут.

Продел ботфорты в стремяна,
залез в карету,
взял в руку посох иль клюку –
молиться лишне.
И только слышится «ку-ку»
из рощи ближней.

Кругом луга, кругом поля –
всё радо свету...
А по дороге, зло пыля,
идут и едут.

Вот скачут славный граф Роланд
с оруженосцем.
Вот псина ищет провиант
понурым носом.
Вот кляча пегая везёт
телегу снеди.
На снеди мышь – эх, эпизод! –
спокойно едет.

А эти двое кто (чудесней
других прохожих)?
И разные и, ей-же-ей,
всё ж в чём-то схожи.

Вот первый: невысок и сед
и, видно, болен.
Его приплюснутый берет –
усллада моли.
Как крест нагрудный засверкал –
вы посмотрите!
Не сам ли император Карл
его даритель?

Второй же: молод и ледащ,
и ростом – тополь.
Похоже, свой невзрачный плащ
он сам и штопал.
И пряжки драил кирпичом...

Но всё же, всё же...

Покуда конь рассёдлан боевой,
покуда рядом он, твой рыцарь,
ладони положи ему на грудь
и поцелуй - и раз и два – сладчайше...

ПОЧТИ НАОБУМ – ЭММЕ
С ОДНОИМЕННОЙ КАРТИНЫ
НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Ты ожидаешь нежности вотще.
Нрав у него отнюдь не голубиный.
В углах креста, что рдяно на плаще
его нашит, ты видела руины,
Окаменевшую дракона кровь?
В легенду эту верит он не даром.

Тебе ж доныне снится отчий кров,
столь чуждый ураганам и пожарам,
и будто мама (в снах всегда жива)
у очага кота клеймит позором,
и будто бы сама ты кружева
плетёшь, тихонько радуясь узорам...

Не дьявол ли тебя сподобил стать
любовницей Великого Магистра?
Того, кто восклицает «Благодать!»,
когда погода ветренна и мглиста,
когда порывам ледяным вдогон,
сперва с потрескиванием, после с гулом
бросается безжалостный огонь –
любимейший питомец Вельзевула!...

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

рондо

Огромный и угрюмый, в тёмных латах,
что сплошь в отметилах клинков булатных,
на жеребце огромном вороном
он появился в городе родном
вслед дикой стаи небылиц крылатых.

Меж пеших, в позументах и заплатах,
разгорячённых гвалтом и вином,
он едет в отчужденье ледяном,
огромный и угрюмый.

Он едет мимо вязов тех кудлатых,
где двадцать лет назад мечтал о кладах
и ждал её карету день за днём.
И мимо домика с одним окном,
не дрогнув, проезжает этот латник,
огромный и угрюмый.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ОСАДА»

тенсона

Расставив ноги, чтобы не шататься,
и выставив вперёд живот, как жбан,
вопит он снизу, с вала: «Святотатцы!
Вас не спасут броня и ворожба!
Мечи и стрелы наши – видит Бог! –
губительны для ладанок и лат.
Мы перебьём вас, будто бы цыплят!»

А с башни замка, тощий, однорукий,
склоняющийся хлипко, как ветла,
хрипит: «Христопродавцы и ворюги!
Уж заждалась огня смола в котлах.
У нас её в достатке – видит Бог! –
чтоб подпалить со стен всю нашу рать
и прямо в ад отправить – догорать!»

Так, распалая несуразной злобой
и без того недобрые сердца,
кричат, кричат, кричат они. Но оба
зря полагают, будто созерцать
осады копошенья должен Бог.
На крик воззрился было Вельзевул,
да тут же отвернулся и зевнул.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «НЕЛЮДИМ»

октава

А тех, кто забирается в пещеры,
чтоб там, во тьме кромешной, солнце славить,
тех кто обходит стороной красавиц,
чтоб воспевать божественную страсть,
тех, как нам понимать?

То ли ущербны,
дурное исключение из правил?
То ли Господь, архангелам на зависть,
их, смертных, одарил, щедрей в сто раз?

ПО ПОВОДУ ГРАВЮРЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ»

«Так всё же кто и что есть Бог?»

«Бог – Всё!»

Взыскующему бросил мрачный Луллий.
Века назад их диалог засёк
хронист, от прилежания сутулый.

Над этой засечкой впору мне
(хоть у меня, увы, не та фактура)
на долгие часы окаменеть
известною роденовской скульптурой.

ВЫЗОВ СХОЛАСТА

(по картине неизвестного художника
«Богослов в тронном зале»)

баллада

«...и попугая обучи латыни!» -
Тут сир усы пригладил со смешком.
У трона подлокотники – золотые
гепарды, что прогнулись пред прыжком.

За столь же вычурною спинкой трона,
за левым императорским плечом,
гофмаршал замер – жуткий, как Горгона,
на деле состоящий палачом.

А справа трона – первые вельможи,
громоздки на подбор. Наверняка
любой из них, коль пожелает, сможет
схолоста раздавить, как червяка.

А что подобное желанье рядом
уразумет даже лоботряс
по немигающим угрюмым взглядам,
из приглушённых, как рычанье, фраз.

Однако хлипкий богослов не трусит,
не слышит будто злые голоса.
Глядит спокойно, не без лёгкой грусти,
в кошачьи августейшие глаза.

Гофмаршал тут придвинулся с наклоном
к монарху, приоткрыл свой храбрый рот...
Но донеслись до прочих в зале тронном
лишь два последних слова: «...пусть наврёт».

Не только лишь усы, но и бородку
теперь огладил томный сюзерен.
Вздыхнул и молвил нарочито-кратко:
«Известен всем от Гарца до Арденн
ты мудростью, которой нету равной.
Мы ж признаём, что скудоумны сплошь.
Так вразуми нас, мудрый: что есть правда?
Ну и само собою: что есть ложь?»

Владыка развлекался в роли лиса.
Однако богослов и тут не сник.
Вот он с усмешкой влево покосился,
на знатных дам щебечущий цветник.

Заговорил сурово, непреложно,
кому-то даже будто бы грозя:
«Порою то, что ясно видим, ложно.
нас вводят в заблуждение глаза».

Вторая богословская тирада
была прочна и звучна, как нефрит:
«Порою то, что мы лишь слышим, правда,
когда устами кнехта говорит
Всевышний иль кто-либо из крылатых

и осененных нимбом божьих слуг,
когда деревья, скалы и палаты
слова простые повторяют вслух!»

Сказал, а – будто бросил всем перчатку.
Никто не принял вызов наглеца.
Лишь глума и злорадства отпечатки
исчезли с августейшего лица.

И вновь палач придвинулся с наклоном
к монарху, приоткрыл свой жабий рот...
Но донеслись до прочих в зале тронном
лишь два последних слова:

«...пусть умрёт!»

ОТСТАЮЩЕЙ ПТИЦЕ
С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«ВЕЧЕР»

Анатолию Певко

Отстань от стаи
в вечерний час,
пусть стая тает,
на запад мчась,
где солнца долька
сошла на нет,
остался только
пурпурный след.

Прощая ветру,
что вдруг задул,
спустись на ветку
в глухом саду.
Пред тем, как с болью
пасть мир теней
побудь со мною
наедине.

ОТ ЛИЦА ГОСТЯ
С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«ГОСТЬ В ЗАМКЕ»

канцона – с

Большой камин с пещерой, право, схож,
и в нём резвятся весело тигрята.
Я, знаю, неучтив и непригож,
но, кажется, ты искренне мне рада.
И, кажется, вина я перебрал –
вот-вот и запою под стать труверу.

Твой мажордом на редкость белокож
и разнаряжен, будто для парада.
Но что он там бормочет, будто вхож
иной иоаннит к владыке ада
и будто бы за кварту серебра
продаст охотно душу, честь и веру?

Мы не были знакомы прежде, что ж
он намекает на меня отвратно?
А может, щёголь сей из трёх святош,
пред кем зияют пропасти разврата
когда вдова прекрасная добра,
улыбчива и говорлива в меру?

Да пусть бормочет! Прекратился дождь,
и окна в блеске солнечном искрят так,
что выглядят опять – не проведёшь! –
простым огнём весёлые тигрята.
И получается, что вновь пора
в дорогу дальнюю госпитальеру.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СКАЧУЩИЙ ВСАДНИК»

верлибр
или гомон, переходящий в чёрт те что

Памяти Николая Шушарина

- Вот мчится, мчится...Плащ-то, плащ!
- По тем временам – да.
- Одна лошадиная сила – что вы хотите?
Для сравнения, моторе «Кадиллака» -
этих сил лошадиных...
- Тут, полагаю, надо оценивать

По впечатлению. По тому,
Ощущаем ли сопричастность, хотя б интерес:
Куда, почему мчится всадник?
От алиментов спасается.

Я стоял, живо прислушиваясь.
Это ж редкость – разговоры перед картиной.
(Уж в таком глубокомысленном молчании
застывают зрители!).
И тут друг придвинулся ко мне и шёпотом:
«Твой портрет».
Я удивился, покачал головой.
Шага не проехал верхом, не довелось
(а так хотелось, так хотелось!)
да и по части алиментов, увы, не востребован.

И лишь вечером, в одиночестве,
благодаря своей склонности к ретромыслям
(коровий принцип: наглотался пищи,
а затем, отрыгивая, прожёвывать),
я подумал, что друг, наверное, прав.
Я же ему рассказал тот свой сон
(мы обычно делились красивыми снами).
А сон такой:

Будто стук,
робкий и настойчивый стук в дверь.
Встаю, накидываю на плечи шубу (?),
открываю дверь.
Входят двое – благообразные бородачи.
«Распиштесь», - говорят
И гусиное перо суют в руку.
«За что?» «А вот...» И –
откидывают крышку большой шкатулки,
а там: золотые монеты, запястья, кольца...
Поднимаю руку и тотчас одёргиваю:
«Куда мне столько!»
А сам пячусь, пячусь
И – сквозь стену! Спиной! Прошёл!
Шубы на мне нет, зато голубая лента,
откуда ни возьмись, через плечо!
Не успел оглядеться в новом помещении,
вновь стук в дверь! Громкий!
Входят – молодые, бравые, в усах.
«Вельможи заждались» - говорят.

«Чего, кого?» - удивляюсь.
«Вашей тронной речи!»
Ни фи́га себе! Молчу и –
вновь пячусь, пячусь...
И вновь сквозь стену! Спиной!
(На сей раз лента голубая – тю-тю!)
Оглядываюсь вокруг.
Полумрак. Торшеры. Тихая музыка.
И на софе – Она. Она!
Сколько лет, сколько зим!
Сидит, шарм интенсивно излучает.
И наконец-то в достойном прикиде:
платье в радужных переливах, кружева...
Маркиза!
И я, разумеется, при шпаге.
Шляпу с огромным пером на софу – небрежно.
Плащ горделиво через руку перекинул...
Она встаёт: «Проводишь?»
Поправь шарф, вечно он у тебя набок...»
Плывёт на выход.
Провожая (невеста как-никак,
у кого бывшие – жёны, любовницы,
у меня – невесты).
Она – в карету, кучер тряхнул вожжи...
Я вскакиваю на глянцевого коня –
за каретой!
Та катит меж округло подстриженных деревьев.
Скачу, не отстаю.
Плащ за плечами бурлит...
Впереди – перекрёсток.
Карета – напрямую, наддаёт скорости...
А я – влево! Стремглав!
Только плащ хлопнул по ветру!
Впереди – свобода и ветер, ветер!
Нет, море впереди! Великолепие приборя...
А коня-то у меня – как и не было.
Плащ только.
Вал огромный накатывает, вздымает гребень...
А плащ: подымает меня выше вала!
Второй вал. Ух, высоченный!
А плащ подымает меня выше!
Третий вал. Гигантский!
А плащ – меня – выше!
Вал до солнца!
А плащ...

Тут я проснулся.

СОСЕДУ
ПО ПОВОДУ ЕГО ПОРАЗИТЕЛЬНОГО СХОДСТВА
С ФИГУРОЙ НА КАРТИНЕ БОСХА «ВОЗ СЕНА»

септима

В великий праздник Октября,
едва забрезжила заря,
ты втихаря
два пузыря
употребил.
И закричал: «Я что, зазря
порхатых бил?!»

Потом ты рыбьею башкой
сообразил: штаны на кой?
Ты ж не какой-
то дед с клюкой!
На кой трусы?
Ты ж мощи образец мужской,
король красы!

И так, с ладонью под пупком,
во двор спустился кувырком.
И прямиком рванул в профком
под свист и шум.
Там, дверь дубася кулаком,
рычал: «Про-р-рошу!»

Ты ссуду срочную просил,
косяк при этом оросил.
И голосил,
и надкусил
вахтёру нос.
В конце, из всех последних слов,
ты дверь разнёс...

Он, Босх, писал всё так как есть,
ему чужда любая лесть.

За это днесь
голландцу честь,
Честь и почёт.
Вот только шпага, шпора – здесь,
увы, просчёт.

ПО ПОВОДУ ТРИПТИХА БОСХА «ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ»

чёрт те что

Лечу на рыбине я с той
измызганной и испитой,
кого народец холостой
звал Надей лишь в надежде...
С шалавой Надькой я лечу
и всё мне по...сказать хочу,
что всё теперь мне по плечу.
Но прежде

сказал пингвина побратим:
«Лететь-де, надобно двоим,
ему и ей, чтоб был интим...»
И потому – в одежде
пока что, не ахти пьяна,
была Надин извлечена
из памяти моей, со дна.
Но прежде

сказал мне тот же гид чудной:
что небо в дымке-де сплошной.
«Но загодя, - сказал, - не ной –
отыщем в дымке брешь-де.
Гляди, вот рыбина без жабр.
Она, сглотнув полсотни жаб,
на старте – словно дирижабль».
Но прежде

я видел много разных туш,
всего лишь туш, бишь тел без душ,
что втоптаны в грязюку луж.
Я видел злой мятеж тел!
Тела – кошмарным снам под стать,
любое – зверь, любое – тать.

Я понял, надо улетать.
Но прежде

мне окулист Иероним...
Нет, извиняюсь – аноним
(Фамилию и псевдоним
не выдам я, хоть режьте!)
снял с глаз без боли бельма СМИ,
и разглядел я этот мир
с травой и будто бы людьми.
Но прежде...

Нет, неохота вспоминать.
Летим! Эгей! Не мякни, Надь!

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ БОСХА «ФОКУСНИК»

верлибр

Неистребимо негодяйство –
извечный промысел Руси.
Им даже слабые гордятся,
когда у сильных нету сил.

Валерий Крушко

Вот и мы стоим
год за годом, год за годом
перед сменяющимися друг друга фокусниками.
Некоторые из нас рты разинули,
другие закусывают (солёным огурцом),
однако большинство бормочет: «Негодяи!»
Кто со злостью,
кто с восхищением,
кто в адрес фокусников,
кто в адрес их подручных,
что знай себе шарят
в наших почти пустых карманах.
Год за годом, год за годом – стоим.
И, глядишь, достоимся
до часа Зверя.

ВОСПОМИНАНИЕ,
ВСПЛЫВШЕЕ ПЕРЕД КАРТИНОЙ БОСХА
«СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
(конкретнее, перед фрагментом
«ТЩЕСЛАВИЕ»)

верлибр

Мне казалось, я жаждал справедливости.

Говорил: «Пойдём в театр.
Наш серенький режиссёр
пыжился-пыжился
и выдал-таки яркую находку:
все персонажи пьесы
то и дело
принимают боксёрскую стойку –
и ресторанный вышибала,
и акушерка (перед роженицей),
и реставратор икон (перед Спасом)...

Весьма ограниченной, как оказалось,
актёрской выносливости
хватает лишь на режиссёрскую находку:
между воинственными стойками
актёры движутся и говорят –
как после марафонского забега...
Публика реагирует адекватно:
при виде сжатых кулаков
недобро оживляется,
между – зевает и томится...

Но если в партере появишься ты –
«Не зря потратились на билеты!» -
решит мужская половина публики.

Ты вежливо выслушивала
и мило отмахивалась.

Я говорил: «Или пойдём в школу, к Люде,
На урок литературы.
Первым пойду я
и прилюдно опровергну...Пушкина!
Мол, очей очарованье –
вовсе не осень, а...

тут войдешь ты!»

Ты отмахивалась.

Я восклицал: «Где же справедливость?!
Я люблюсь тобой час за часом,
другие – мельком,
а ты сама – ни секунды...
Подойди к зеркалу!»

Ты отмахивалась более энергично.

Выходит, что же?
Выходит, не видя картины Босха,
ты однако догадывалась,
что зеркало перед красавицей
держит бес.

К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ТАНЕЦ»

белые стихи, переходящие в неосекстину

Насупленный волынщик округлил
мячами щеки. О как сильно дует.
Да он с Бореем, видимо, в родстве!
Напрасно, добрый на глотке десятом,
крепыш суёт ему кувшин с вином –
волынщика на полминуты даже
от звучного занятия отвлечь
и, кажется, он выдувает рьяно
не пыльный воздух, а крутую злость,
что в нём десятилетия копилась.
А слева, за уставленным столом –
три спорщика. И потому, что шире
других разинул рот тот, у кого
большущая, чужая, видно, шапка
сползла (давно, похоже) на глаза,
легко предположить, что тема спора:
политика... А справа – оп, ля-ля! –
хозяин крепкий, принакрыв седины
чёрт знает чем, где ложка – как плюмаж,
притом ощерен, точно волк матёрый,
с супружницею, верной, как соха,

вбегает в круг...И, право ж, на веселье
намёка даже нету здесь ни в ком.
И такова, сдаётся, подоплёка:

«От ворот до ворот
пляшем мы, семеня.
Грунт – пойми нашу прыть –
мы пытаемся взрыть,
будто под семена,
будто здесь огород.

Да не будто, а впрямь!
Лишь для вида кружа,
в лунки, как повелось,
зарываем мы злость.
А сжирать урожай,
как положено, - вам!

Вам, в атласе стрелки
с вашей честью смешной,
вам, святые отцы,
вам, чинуши, дельцы,
что бездонны мошной,
да душою мелки.

Этот злой урожай
будет век на слуху,
И хоть правда о нем
вперемешку с враньём,
всё же вам требуху
он проест, будто ржа!

К КАРТИНЕ РУБЕНСА «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»

триолет

Уж больше жеребец великолепен:
и вихрегрив, и в жилах кровь – огнем!
А всадник? Всадник... Стоит ли о нём? –
уж больно жеребец великолепен.

Коль этот холст задуман как молебен,
то не удался он, сказать рискнём.

Уж больно жеребец великолепен:
и вихрегрив, и в жилах кровь – огнем!

ВОПРОСЫ У КАРТИНЫ РУБЕНСА «ПОРТРЕТ ЕЛЕНЫ ФОУРМЕНТ»

октава

Я слышу о достоинствах портрета:
мол, виртуозность и своеобразие,
и – что лица, и кружева, и перья
равно прекрасно изображены.
Да как же, братцы, без приоритета?
глаз, скажем?

Иль улыбки, скажем?

Разве

маэстро восхищали в равной мере
глаза и брошка молодой жены?

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ РУБЕНСА «СХВАТКА ЗА ЗНАМЯ»

триолет

Он зверство людское

с азартом

на холст наносил

сам будучи –

даже для мух! –

абсолютно безвреден.

Вослед Леонардо,

от царственной ревности бледен,

он зверство людское

с азартом

на холст наносил.

Как жить благонравно

с избытком желаний и сил?

Когда каждый взмах замусоленной кисти победен?

Он зверство людское

с азартом

на холст наносил,

сам будучи –

даже для мух! –
абсолютно безвреден.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ РУБЕНСА «СТРАШНЫЙ СУД»

триолет

Ему по нраву бесшабашный пир,
а он отгрохал (трижды!) «Страшный суд».
А Суд случись, туда и донесут:
«Ему по нраву бесшабашный пир».

Недаром шёпот, лёгкий, как зефир,
меж тех, что облака (пока!) пасут:
«Ему по нраву бесшабашный пир,
а он отгрохал (трижды!) «Страшный суд».

ЗАВИСТЬ

неосекстина

Пусть Рубенс, баловень судьбы,
советник королей,
малюет их на скакунах,
при шпагах, в перьях, в галунах...
А ты, приятель, мне налей
покрепче под бобы.

Он, Рубенс, никакой не гранд,
он даже не маркиз.
Но ослепительный Филипп
за ним сюда шлет корабли...
Бобы, пойми ты, не каприз,
а сил мужских гарант!

Он, Рубенс, никакой не граф,
он даже не виконт.
И все ж ему б Людовик внял,
когда б не хитрый кардинал...
Бобы же ели спокон
без всяких там приправ!

Он, Рубенс, никакой не лорд,
он даже не эсквайр.
Однако же надменный Карл
с ним делит королевский скарб...
Еще бобов! Знай поспевай!
Закуска – первый сорт!

Да, Рубенс – баловень судьбы,
он – будто всех умней.
Сам герцог Бекингем ему
писал как другу своему...
Письмо? От Бекингема? Мне?!!
Тогда...к чертям бобы!

ПИРУЮЩИМ
С КАРТИНЫ ЙОРДАНСА
«БОБОВЫЙ КОРОЛЬ»

рондо

На кой вам тамада? Из вас любой,
как говорится, держит хвост трубой
и может выдать тост, как с небосклона,
и шуточкою щегольнуть соленой,
и окатить – как из ведра – хвальбой.

О как же вы хохочете гурьбой,
припомнив, как от взлая шавки сонной
в фонтан свалилась знатная персона!
На кой вам тамада?

Довольны вы сейчас своей судьбой,
соседом и соседкой и собой.
Вокруг себя глядите вы влюблённо.
И в рай свое вхождение колонной –
чрез век! – пророчите наперебой.
На кой вам тамада?

ОТ ЛИЦА ПАТРИАРХА
С КАРТИНЫ ЙОРДАНСА
«БОБОВЫЙ КОРОЛЬ»

неосекстина

Обычно нас дичась,
кружит, неуследим,
меж веток, труб и крыш
веселья быстрый стриж.
А к нам он, нелюдим,
влетает лишь на час.

Ему всегда поклон
и тысяча услуг.
Но ни один из нас
не может, не горазд
на глаз да и на слух
определить, где он.

Такие времена,
такой-то вот конфуз...
Где он, веселья стриж,
мы можем только лишь
определить на вкус
и это вкус вина.

К КАРТИНЕ ВАН-ДЕР-ГАЛЬСТА «ЗНАМЕНЩИКИ»

сонет

Как на подбор! Любой хорош собой.
К тому ж экипировка выше сметы:
какие белоснежные жабо,
и изумительные позументы,

шёлк и атлас небесно-голубой,
а перьев радужность и фетр отменный!
Да, несомненно заслужил любой
и поцелуи, и аплодисменты...

Но посреди огромного холста
художник уложил (вестимо, неспроста)
пса пыльного, вздыхающего тяжко.

Необходима, мол, меж этих лиц,
верней сказать, меж гладких ягодиц
хотя б одна разумная мордашка.

Вдали – развалин груды.
И солнце из-за тучи
их заливает нежным
прощающим теплом...
И мнится, холст подсвечен
улыбкой лёгкой, мудрой.
И вдруг на миг какой-то
щемящее счастлив я.

К КАРТИНЕ РЕМБРАНДТА
«АВТОПОРТРЕТ С САКСИЕЙ НА КОЛЕНЯХ»

рондо

Не будь словца «автопортрет», я, зритель здравый,
подумал бы, что передо мной один из бравых,
самодовольных и удачливых повес,
в кого вселился втихомолку мелкий бес
и чувствует себя совсем как дома, право!

Он любит вина, снедь и острые приправы,
красоток, от стряпух до пылких поэтесс...
«Распутник!» - я б вскричал, отбросив политес,
не будь словца «автопортрет».

И по сердцу ему лишь грубые забавы.
Искусство ж для него, должно быть, - род отравы,
а философия - набор пустых словес.
И тунеядцу этому в противовес,
я б выкрасил забор на даче тети Клавы,
не будь словца «автопортрет»

К «АВТОПОРТРЕТУ» (из последних)
РЕМБРАНДТА

рондо

Не будь словца «автопортрет», я, зритель зоркий,
подумал бы, такому место только в морге,
на цинковом столе, под серой простыней.
А он, гляди, сроднился с рамою резной,
стоит себе века... Где ж, черт возьми, подпорки?!

У нас такой же на помойке ищет корки,
всегда с худой кошелкой, спутницей родной.
«Бомж ихний!» - я вскричал бы, с вами заодно,
не будь словца «автопортрет».

Ему неведом вкус мартини и икорки,
неведомы любви и творчества восторги,
и слава тусклого обходит стороной.

Что жил такой бедняк, что не жил – все равно.
Так рассуждал бы я, балбес, достойный порки,
не будь словца «автопортрет».

АМСТЕРДАМСКИЕ ПРОХОЖИЕ

По мостовой булыжной,
в вечерней легкой дымке,
чуть видно и неслышно,
как полуневидимки,
идут навстречу будто
один другому.

Справа –
канал.

А слева груды
снастей да куст корявый.

На лодке, что вверх днищем,
оглодки рыбин крупных,
Один...похоже, нищий.
Другой...никак, преступник?

Ни всплеска на канале,
он – словно отутюжен.
Вот молча поравнялись
и разминулись тут же.

Все дальше друг от друга.
Вот вовсе с глаз пропали:
один свернул за угол,
другой исчез в портале.

И вздох чудного тембра
вдруг с облака донесся.
Один...похоже, Рембрандт.

Другой...никак, Спиноза?

ВЕСЕЛОМУ БРАЖНИКУ С КАРТИНЫ ГАЛЬСА

сонет

Пусть с виду словно праведный Махмуд, но
порой я также выпить чарку рад.
Конечно, не с утра и не подряд,
со всеми, и не нашей браги мутной.

А тут винцо – топаз в пятьсот карат!
И тост твой мудр, как строчка из талмуда.
Готов я повторить его сто крат,
Хотя и не расслышал почему-то.

Мы ж рядышком, почти что к носу нос.
Три века и тыщонка миль всего-то
меж нами...

Знаешь, я бы восторгался

И пуце, тост бы также произнес,
когда б ты пригласил сюда (для квоты)
добрейшего соседа Франса Гальса.

К КАРТИНЕ ГАЛЬСА «КОРМИЛИЦА С РЕБЕНКОМ»

триолет

Ах, как добра и как мила кормилица!
И жест ее сравнить уместно с песней.
Конечно, крошка – куколки прелестней.
Но так добра и как мила кормилица!

А где ж мамаша?

Перед балом мылится?

Невидимый,

в минуты эти бес с ней...

Ах, как добра и как мила кормилица!
И жест её сравнить уместно с песней.

ДИАЛОГ АВТОРА КОММЕНТАРИЕВ

И МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В ЧЁРНОЙ ШЛЯПЕ С КАРТИНЫ ГАЛЬСА

октавы

- А ты, приятель, вроде трубочист?
И, вижу, весел и самонадеян?
Бьюсь об заклад, какая-то идея
под чёрной шляпою твоей, ведь так?
И мне сдается, был бы ты речист,
мы б услышали:

- Пусть на вернисаже
не место мне, зато по части сажи
и прочей всякой грязи я мастак!

Что там у вас? Большой камин с резьбой?
Иль просто печка допотопной кладки?
Что б ни было, коль с тягой неполадки,
вам без меня никак не обойтись.
Я прочищаю дымоход любой,
Как горло в ожидании команды
хват-запевала! То-то саламандры
потом резвее и звучнее птиц!

Но низко мне и на трубе верхом.
И чтобы чувствовать себя повыше,
я, к работенке черной попривыкший,
хочу почистить малость...магистрат!
- Что, что? Кого-то из столпов – пинком?!
Каков, однако! Бунтовщик, однако!
Пусть я моложе лет на триста с гаком,
но говорю тебе как старший брат:

во власть на место двух-трех подлецов
кильватерным – как галеоны – строем
приходят, кто подлее вдвое-втрое.
Так что не лезь, дружище, на рожон.
Побереги свой зад, да и лицо.
А коль уж так неисправимо прыток,
то молодецких буйных сил избыток
употребь на справных ихних жён!

ОФИЦЕР С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ ГАЛЬСА
МНЕ, ГОРЕМЫЧНОМУ

Гальс

Жаль... Но уходите не для потех –
на подвиг, что высок, как лёт орлиный!
(Какие, интересно, кринолины
и чепчики у душегубов тех?).

Офицер

Я слышал, Гальс, вы также индюка
рисуете – глупее нету птицы...
(Коль это правда – то и живописцы
глупы слегка, а может, неслегка).

Гальс

Я?... Индюка?!... Кто это вам сказал?!
А впрочем... Вспомнил: начинал этюдик...
(Мне поделом! Простите, Бог и люди,
что склонен насмеяться за глаза).

Офицер

Вот и рисуйте пташечку свою,
пока я не вернусь с победой славной!
(Не миловаться век с моею павой,
коль цену за портрет я не собью!).

Гальс

Мне радостно, что с вами я знаком.
В сражении, как на холсте, красуйтесь!
(А хорошо все ж, что индюк по сути
себя не ощущает индюком).

К КАРТИНЕ РЕЙСДАЛЯ «ЛЕСНОЕ БОЛОТО»

рондо

А где-то солнце... Тут же, под листвою,
тяжёлой, тёмной, будто бы литою,
над облачную серой пеленой
(как бы под чьей-то горней сединой) –
тут только сырость вкупе с темнотою.

Тут – ряска и местами – мох с травой.
И, обернувшись птицей, водяной
На миг блеснёт холодной белизной...
А где-то солнце.

Тут место тех, кто долго к благопою
шагал тропинкой узкой и кривою.
Тут души, отягченные виной,
навек сроднились с черной глубиной...
А где-то высь сияет синевою.
А где-то солнце.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ РЕЙСДАЛЯ «ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА»

рондо

Мсье с тростью – ветреник, хоть с видом знатока
навёл моноклик свой на эти облака,
тяжёлые, с опаловым отливом,
плывущие над вспененным заливом,
над мельницею, что массивно-высока.

Стоять здесь не тому, чья реплика тонка.
Стоять здесь в созерцанье молчаливом
мужам громоздким и неторопливым...
Мсье ж с тростью – ветреник.

Стоять здесь только тем, чья доля нелегка –
как жернова, как сеть, как холст и как строка.
И если глянуть более пытливо,
сам ветер здесь не ветрен, не шкодлив, а
напарник мельника, маэстро, рыбака...
Мсье ж с тростью – ветреник.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ РЕЙСДАЛЯ «ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ»

октавы

Руины синагоги иль часовни
(там обитают, очевидно, совы).
Засохшее – давно, должно быть, – древо
белеет в лунном свете, как скелет.
А брошенным надгробьям и гробницам
пока что удается сохраниться.
За исключением той плиты, что слева...

Но что увидим через тридцать лет?

Всё, всё к распаду близится, старея.
Всё потихоньку сжёвывает время.
Всё, что угодно: древесину, камень,
не говоря уж про тела людей.
Но не о том бормочет упоённо,
бегущий по ложбине (днем – зеленой)
беспутный, не стесненный берегами,
откуда-то прорвавшийся ручей.

Наверное, надеется водица
на то, что обязательно сгодится.
Кому, когда? – Что, мол, гадать заранее,
коль все свершиться, как наметил рок?
Бежит ручей в предвосхищенье юном,
белеет свежей пеной в свете лунном
и что ему до этих страшных граней,
которыми и мох-то пренебрёг?

А вот преуспевающий художник,
из-за нежданных передряг дорожных
в столь поздний чёрный час шагавший мимо,
застыл, как изваяние, в тоске.
И - прям беда с натурою людскою! –
теперь свою смертную тоскою
ему, ван Рёйсдалю, необходимо
быстрее поделиться, хоть бы с кем.

К КАРТИНЕ ГОНДЕСКУТЕРА «БЕЛЫЙ ПАВЛИН»

два триолета

1.
Бел, а не заляпан, не заклёван.
Это ж в ойкумене нашей диво!
Слишком, согласитесь, неправдиво:
Бел, а не заляпан, не заплёван.

Впрочем... Эй! Чем злиться бестолково,
поспешите-ка сюда ретиво!
Бел, а не заляпан, не заплёван.
Это ж в ойкумене нашей диво.

не предусмотренный – покупка новой...
Но что сейчас об этом рассуждать?
Ведь неприятность удручит нескоро.
В мгновенья ж эти, судя по лицу
уснувшей, ей приятно и спокойно.
Скорей всего, пред ней в нежданном сне
уоставленный разнообразной снедью,
покряхтывающий тихонько стол
(на коем в яви лишь кувшин и чарка).
Но муженьку простецкий сей сервиз,
как видно, по душе.

И продолжая
раздольно в одиночку пировать,
он на жену глядит как победитель.
Нет, не злорадно, - боже, упаси! –
а снисходительно: мол, слабовата
натура женская, куда уж ей
тягаться с крепким, полным сил мужчиной!
Да он пока мужчина хоть куда!
Лицо землисто, в меру грубовато
и никаких румянцев-глянцев, как
у франта иль пасхального яичка!
И нос, весомый настоящий нос,
не жалкая сомнительная пипка!
Зря что ли, Эльза, пухлая швея,
так мило улыбается при встрече?
Достаточно, уверен, подмигнуть
и приобнять...

Но он не греховодник,
не петушок, который прыг да скок.
Пусть жёнушка посапывает сладко –
за мужем за подобным, говорят,
как за стеною каменной.

К тому же
он знаменит как мастер.

Неспроста
зять не кого-нибудь, а бургомистра.
ему штаны сегодня заказал.
Задаток, правда, маловатый, даже
супруге не хватило на бобы.
Но обойдется! Ведь вчера по полной
тарелке съели, с соусом притом.
А к бургомистру вновь приедет, слышал,
негоциант испанский, весь в шелках
и кружевах...

И он, конечно,
заметить должен новые штаны
на бургомистровом задастом зяте.
И кто же превосходно так пошил? –
гость спросит. И ему ответят тотчас.
А передайте-ка, - попросит гость, -
искусному и честному портному:
когда бы согласился он в Мадрид
приехать, то осыпали б его там
дукатами с макушки до подошв!
А почему и вправду не поехать
в Испанию? Поедут. Решено!
Но шлёпанцы не стоит брать с собою.
Ведь там жара с утра и босиком
все домочадцы ходят.

А вельможи
так те и вовсе ходят без штанов.
Нет! Не уговорите! Ни в какую
Испанию жену не повезёт.
Ведь, разобраться, им и тут неплохо
Живётся.

Вот сошьют штаны
и купит обязательно в придачу
к кувшину вот такого каплуна!
В придачу не к кувшину – к двум кувшинам...
А может быть, уехать все ж в Мадрид?
Ну, без штанов там гранды, ну и что же?
Они, те гранды, сами по себе.
И он с добропорядочной супругой,
вестимо, будут сами по себе, -
одетые...

Все, так и быть, поедут!
И шлепанцы с собою заберут.

2.
Нет, всё ж блаженней тот, кто пьян,
чья – как приклеена – улыбка,
кому вселенная – как зыбка...
Нет, всё ж блаженней тот, кто пьян.

И не с вином его стакан,
в стакане – золотая рыбка...
Нет, всё ж блаженней тот, кто пьян,
чья – как приклеена - улыбка.

СОСЕДИ

неосекстина

Живёт средь нас один добряк
и выдумщик, и острослов,
к тому ж работник хоть куда:
различной краске борода,
а нос...а нос тогда лилов,
когда вином набряк.

Он говорит: «Порою мир
и тускл, и зол, и приземлён.
Но вот: бокал, второй бокал...
И мир, гляди, как засверкал!
Гляди, высок и заселён
добрейшими людьми!»

А сам он что ни миг готов
порадовать и поддержать
не только тех, кто с ним в родстве,
готов любому дать совет
и в случае нужды деньжат,
притом без лишних слов.

Недаром же в тот день плохой,
когда с утра добряк наш пьян,
соседка, злейшая из злюк
(не произносим имя вслух),
вздыхает горестно: «Наш Ян
сегодня – о-хо-хо...»

Ну, а вне этих бедных стен
добряк наш, право ж, знаменит.
Куда б ни направлялся он,
со всех сторон ему вдогон,
как ливень гульденов, звенит:
«Ян Стен, Ян Стен, Ян Стен!»

СОБАКЕ С КАРТИНЫ ПОТТЕРА «ВОЛКОДАВ»

Гид сказал, что вывезен был из России
ты беспомощным слепым щенком.

Но потом, с нуждою не знаком,
на чужбине взрос во всей красе и силе.

Не было вокруг тебя берёз, осин и сосен.
Не было морозов и снегов.
Не было клыкастых, злых врагов,
Без которых, оказалось, мир несносен.

Ничего-то по-людски не поняв толком,
но чутьём своим всё разгадав,
ты, исконный русский волкодав,
выл на нидерландский низкий месяц волком.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПРИХОД СМЕРТИ»

катрен

Отшельник и тот – по наитию –
втихую боится конца.
Хотя мы все – по развитию –
не вылупились из яйца.

К КАРТИНАМ АДРИАНА ВАН ОСТАДЕ «ХУДОЖНИК В МАСТЕРСКОЙ» И «СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ»

Хорошо, что выпить нечего, хотя бы
потому что натошак вино вредит.
Эти скупердяи и головотяпы
даже хлеб уже не продают в кредит.

Пусть! Художники готовы, как и волки,
иногда (зимою чаще) голодать.
Да и замерзать.

Но в куртке с барахолки,
в шапке, кем-то выброшенной – благодать.

Тут иной остряк задаст вопрос, став фертом:
«Что, лишь музыки одной недостает?».
Почему же? Музыка исходит от мольберта
явственней, ей-богу, чем от чёрных нот.

Зря ли там, откинулись на спинку стула,
шляпою покрытый чуть не целиком,
музыкант в такой же одежонке тусклой
упоенно водит стареньким смычком.

Слушают его, подсев как можно ближе,
слушают – как будто благостную весть.
А один, в переднике с мукой налипшей,
собирался было, да забыл присесть.

Удалась картина!

И художник вправе
выручкой себе запудривать мозги...
Нет! Ещё придется чуточку подправить
у незнатной скрипки женственный изгиб.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВЕРМЕРА ДЕЛФТСКОГО «КРУЖЕВНИЦА»

октавы

Ах, сколь она прилежна, сколь нежна!
И не пойму, как изображена
здесь тишина?

И, видно, долго-долго
плетётся это кружево.
Да, тишина. То ль в полукружьях век?
То ль замершем намёке на рассвет
улыбки?

И стою я, даже вздохом
себя не обнаруживая.

Стою я, восхищён и изумлён,
и даже – что скрывать-то? – ущемлён.
Ведь, наблюдательный, казалось, с детства,
не замечал я ранее,
что может быть, в упор не видя зло,
так безмятежно, кротко и светло,
так благостно (без тени лицедейства)
предельное старание.

К КАРТИНЕ ЯНСЕНСА «КОМНАТА»

октавы

Вот комната.

И оттого, наверно,
что потолок невиданно высок.
и от двух окон, чуть наискосок,
упали солнца жёлтые квадраты,
и в окнах то ли вяза, то ли вербы,
и на стенах – сочтём-ка – семь картин,
на коих море, лес и неба синь,
и стены тем картинам явно рады.

И в смежной комнате, на половицах,
такой же точно солнечный квадрат,
и бляшки медные, крепёжные горят.
на стульях, чьи сидения атласны –
вот отчего я так бы роль провидца
минутного играю: хоть видны
хозяин и хозяйка со спины,
глаза их, знаю, веселы и ясны.

ПО ПОВОДУ НАТЮРМОРТА ДЕ ГЕЕМА
«ОМАР И ПЛОДЫ»

верлибр

Оно конечно –
и огненный омар,
и солнечный, со слезой в надрезе, лимон,
и топазовое вино в бокале,
и драгоценное же свечение грозди винограда,
и т.д. и т.п.

Но будь я художник,
я б изобразил тусклую бутылку,
укороченный серый кирпич
и маленький серебристый параллелепипед
(черта с два грядущие искусствоведы,
особенно зарубежные,
догадаются, что это такое –
серебристое!),
то есть –
0,5 литра «Калгановой» - 2 руб. 15 коп.-
(по-народному - «Сучок» - такой не тонкий намёк),

полбуханки хлеба – 8 коп.
И назвал бы я картину
«Пиршественный стол студентов».
Впрочем, стремясь к предельной достоверности,
поясню:
так мы пировали в Литинституте.
Возможно, в других наших ВУЗах
«Городской» считался непозволительной роскошью.

Постскриптум:

Когда-то, давным-давно
в общежитии Юргинского механического техникума
я спросил однокурсника,
который, блаженно отдуваясь,
допивал вторую кружку кипятка
(кипятком,
по-моему, начиная с Великой Отечественной,
называли не кипящую,
а кипячёную горячую воду,
которую потребляли повсеместно):
«Толь, как ты можешь
пить кипяток без всего?»
«Почему же? – удивился тот моему вопросу
и поднял пустую кружку. –
Здесь позавчера был сахар...»
Так ответил мне когда-то
Анатолий Николенко –
центрфорвард сборной ЮМТ
и сборной города Юрги
(она же заводская команда «Зенит»)...

ОТ ЛИЦА ЮНОШИ
С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«СВИДАНИЕ»

аубада

Я шёл перелеском, промокший до нитки.
Вдруг листья блеснули, как золота слитки!
И тут же, навстречу мне, в лёгкой накидке...
ты с солнцем явилась!

И птицы вокруг вострепнулись мгновенно,

и лес обернулся вдруг праздничной Веной! –
запели все в радости самозабвенной –
ты с солнцем явилась!

А солнце, похоже, уже отблистало,
к сиреневой тучке склонилось устало...
Ты с солнцем явилась, но ясно мне стало,
что солнца светлей ты!

К КАРТИНЕ МЕТСЮ «ЗАВТРАК»

сонет

Какие славные улыбчивые лица!
Супруги молодые за столом.
Такие не способны ныть и злиться
тем паче лезть за благом напролом.

Таким цветы выращивать в теплицах
с душевными – что светом, что теплом.
За них, таких, готов я помолиться
и возвести пред ними волнолом.

Да, люди были всё ж. Когда-то, где-то
Жаль, вымерли все, как и динозавры,
от катаклизмов, попросту – от бед.

А вдруг – не все?! Вдруг за стеною этой
ещё живут? И на столе их – завтрак.
Хотя сейчас...по времени...обед.

ОТ ЛИЦА ЮНОШИ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВЛЮБЛЁННЫЙ»

два триолета и полуоктава

1.

Да что вы, какая-токая влюбленность?
Я просто в весёлом огне, в вышине,
где ангелов арфы гораздо слышней...
Да что вы, какая-токая влюбленность?

Искристость её и её окрылённость
все на часок передались и мне.
Да что вы, какая-токая влюбленность?
Я просто в весёлом огне, в вышине.

2.
Ещё слышны шаги её
на лестнице моей скрипучей.
Пошлите все дела покруче! –
Ещё слышны шаги её.

Чтоб диво увидеть живьём,
сюда! Не упустите случай!
Ещё слышны шаги её
на лестнице моей скрипучей.

3.
На губах я унес
губ её аромат,
а в глазах: синий блеск
глаз прикрытых и прядки,
что рыжели на лбу
в озорном беспорядке,
и оранжевый флёр,
что слегка был примят.

На губах я унёс
губ её аромат,
а в душе: карусель
роз, лучей, незабудок...
То любовь, от какой
забывают рассудок,
за какую гранит
цитаделей громят!

И губами шепчу
этот стих я стократ
и сливается с ним
губ её аромат.

К КАРТИНЕ ГОЛЬБЕЙНА МЛАДШЕГО
«ГЕНРИХ VIII, КОРОЛЬ АНГЛИЙСКИЙ»

два рондо

1.

Поскольку он король, он туче, в три объёма.
Но со здоровьем у монарха плоховато:
одышка, колики, порою и запор,
ещё в придачу, временами, глуховат он.

Да, рядом плач – в ушах монарха будто вата.
А спорят палачи, чей тяжелей топор,
он превосходно слышит этот дальний спор,
поскольку он король.

О зрении своём он говорит с бравадой.
Однако на сирот глядит подслеповато,
калеку кнехта же не видит он в упор...
Зато он разглядел, чей флот прошёл Босфор
и кто принцессу гималайскую сосватал,
поскольку он король.

2.

Будь он бродягой, был бы он, как волк, проворен,
и потому за ним не попевали б хвори.
Он мог заснуть бы на бульварной мостовой,
и пить, как тот же самый волк, вниз головой.
Он, в общем, был бы у чертей в фаворе.

Он слышал смерть бы в мало внятном разговоре,
что в сумерках завёл упившийся конвой.
И сшиб бы он пьянчуг в момент тот роковой,
будь он бродягой.

О нём рассказал как о весёлом добром воре
звучал стократно бы на заводском подворье,
где пропил бы браслет (естественно, не свой).
О короле же и о челяди его
он думал редко бы и – как об алчной ссоре,
будь он бродягой.

К КАРТИНЕ ВЕРНЕ «В ПАРКЕ»

октавы

Ни статуи и ни фонтан,
ни дамы и ни кавалеры

не задевают – ни нисколько! -
душевных пресловутых струн.
Душевных? Струн? Да перестань!
Сие поэтовы химеры.
А ведь знаешь не с наскока,
что ни поэт, то явный врун.

Но кроны пиний небосклон
закрыли слева предгрозово.
Но непроглядны и державны,
вонзились кипарисы в высь.
И замираю, изумлён
беззвучным дивно-тёмным зовом.
И струны – есть в душе, не ржавы –
отозвались.

ОТ ЛИЦА ПАЖА
С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«ИОЛАНТА С ЛЮТНЕЙ»

триолет

Когда поёт под лютню Иоланта,
я будто воспаряю в эмпиреи!
Я становлюсь сильнее и храбрее,
когда поет под лютню Иоланта.

В груди я ощущаю сто талантов,
и жажду проявить их поскорее –
когда поет под лютню Иоланта,
я будто воспаряю в эмпиреи!

К КАРТИНЕ БУШЕ «ПАСТУШЕСКАЯ СЦЕНА»

триолет

Наивна и прелестна пастораль:
овечки и пастушки с пастушками.
Пусть остаётся под ногами камень –
наивна и прелестна пастораль.

И пусть обласкан будет милый враль
(но лжец упрятан в худшую из камер) –

наивна и прелестна пастораль:
овечки и пастушки с пастушками.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПАСТУХ»

септима

Пастух привёл овец на склон.
И буку старому поклон
отвесил он
сказал силён
Ещё!»), потом
запел, ничуть не утомлён
крутым путём.

На эту песню в летний зной,
как жеребёнок – озорной,
под крутизной
звуча зурной,
бежит поток
и дарит горцу ледяной
воды глоток.

А выше, возле ледника,
пасутся тихо облака.
Скруглят бока
и - в путь: «Пока!»
Высь всё синей...
И как отсюда далека
грызня князей.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ ЛАНКРЕ «ТАНЦОВЩИЦА КАМАРГО»

октава

Порхает по поляне танцовщица...
Но на картину с лёгонькой гримаской
глядит моя скептическая невеста
и цедит, как лимонный сок, слова:
«Однако же старательно так тщится
она сравняться с бабочкою майской!

А бабочку, настолько мне известно,
никто, как надо, не нарисовал...»

К КАРТИНЕ ФРАГОНАРА «ПОЦЕЛУЙ УКРАДКОЙ»

октава

Юнцу то и отраднo, что украдкой
прелестницу целует. Знал бы он,
что у неё имеется тетрадка,
куда он под прозваньем занесён...
Но знать ему об этом не резон.
Пусть щёчку чмокает благоговейно
в прекрасное застывшее мгновенье.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ДЕ ЛА ТУРА «ПОРТРЕТ МАРКИЗЫ ПОМПАДУР»

триолет,
диалог открыто-скрытый
и белые стихи

1.

Портрет маркизы Помпадур –
как тот карат в сто сорок граней.
И грандов восхищает крайне
портрет маркизы Помпадур.

И живописцу трубадур
при всём старанье проиграет:
портрет маркизы Помпадур –
как тот гранат в сто сорок граней.

2.

Маркиза

Мсье живописец, должна вам заметить я,
как утомительно это – позировать...
(Да всколыхнитесь же! Хватит дозировать
грустные вздохи, кивки, междометия).

Де Ла Тур

Но мне без вас...хоть не ведаю лени я...
сходства вовек не добиться портретного...
(кстати, среди па менуэта паркетного
не наблюдал я у вас утомления).

Маркиза

Знает ли мсье, что мужское вниманье –
высшая ценность для истинной женщины?
(Даже лакея Жореса затрещины
дороги горничной из Мавритании!).

Де Ла Тур

Надо ж не только вниманье прелестнице,
коль мне позволено высказать мнение...
(Вам же достались, к дворцу в дополнение,
сто позолоченных статуй вдоль лестницы).

Маркиза

Ах, да, конечно, не просто внимание.
Но и не то, что в виду вы имеете...
(Что же вы, мсье, на глазах каменеете?
Мысль отогнала о новом романе я).

Де Ла Тур

Всё, на сегодня работа закончена.
О! А ведь жаль...Вы сейчас – просветлённая...
(В вас не заметна уже устремлённость та,
с коей преследует кролика гончая).

З.

А подать-ка мне к дивану
пресловутую Машину
времени! Надеть мне шлем
с сотнею цветных присосок
и – на место «пуск» - рубильник!
Двадцать первый век, адью!

Я рвану назад сквозь вежи –
войны, бунты и открытья –
в тот роскошный будуар,

где в весьма помпезном кресле
грациозно разместилась
фаворитка короля.

И дрожа от возбужденья,
целиком во власти страсти,
я, как барс, метнусь...

Но – «Ах!» -
тут раздастся по-французски
(Прав земляк мой: режет уши
этот...как его?.. прононс!)

От растерянности грубо
я вскричу: «Молчи, дурёха!»
Но опомнясь вмиг, - «Пардон!» -
пробурчу, почти учтиво,
и к столу на ножках гнутых
довершу-таки бросок.

Миг невыразимо дивный!
Со столешницы столетней,
безусловно не дыша,
я сниму разбойно самый
тяжеленный, самый старый
и бесценный фолиант!

Переплет его из шкуры,
не иначе, Минотавра!
И застёжки жёлты – меч
бронзовый Ассаргадона
переплавлен в них, Валерий
Павлович не даст соврать!

Я раскрою том...О небо!
Этот запах тайн старинных!
Этот красочнейший шрифт!
Буква «А» её наверхше:
крошечная алебарда...
О! Нет слов! Сплошное «О»!

И – за миг до сдвига крыши –
я поставлю том на место,
шатко повернусь, шагну
к незаглушенной Машине...
Но культурой напоследок

щегольну: «Мерси, мадам!».

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВАТТО «ПАЯЦЫ» («ЖИЛЬ»)

триолет и октава

1.

Сегодня жизни солнечный виток,
И солнце светит, веселит и греет.
Не удивляйся, что кажусь добрее –
сегодня жизни солнечный виток.

С утра перед «Паяцами» Ватто
я постоял недолго в галерее –
сегодня жизни солнечный виток,
и солнце светит, веселит и греет.

2.

Нет, не сатиры бич и не колючки,
нет, подлинных паяцев принадлежность –
невидимый, но осязаемый лучик,
в котором понимание и нежность,
который и у бледных старых злючек,
уверовавших в нашу многогрешность,
улыбку вызывает вдруг простецкую,
я бы добавил, позабыто детскую.

ОТ ЛИЦА ПАЯЦЕВ С КАРТИНЫ ВАТТО

неосекстина

Бог замечает всё:
как ручеек бежит,
как с дюжиной ворон
сражается барон,
как дремлют всласть ежи,
как трудится осёл,

как дева расплескать
себя спешит, хоть с кем,
как суслик домовит,
как грешник свят на вид,

как строят на песке,
как строят из песка

и как на стогнах сёл
да грязных городов
мы веселим на миг
горбатых и хромых,
обобранных и вдов...
Бог замечает всё.

ОТ ЛИЦА МОЛОДОГО РЫЦАРЯ
С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ
НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

триолет

Оруженосец мне коня подводит,
приплясывающего в нетерпенье.
На луг сбегая через три ступени –
оруженосец мне коня подводит.

Десяток солнц блестит на небосводе,
ликующе листвы весенней пенье –
оруженосец мне коня подводит,
приплясывающего в нетерпенье...

К РИСУНКУ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«РЫЦАРСКИЙ ГЕРБ»

рондо

Елене Токарчук

Три стрелы серебряных на сером
(свойственном ненастным мутным сферам),
три, летящих ввысь наискосок.
А настолько их полёт высок,
ведомо лишь было тамплиерам.

И, быть может, мрачным изуверам,
что сожгли строптивцев за часок,
чтоб занес забвения песок
три стрелы серебряных.

Но хоть и слыву я маловером,
служат мне с ребячьих лет примером.
три, летящих ввысь наискосок,
три, отвергших всякий толк и прок
и навек приверженных химерам,
три стрелы серебряных.

ОТ ЛИЦА ПАЛАЧА
С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«ПАЛАЧ НА ПРОГУЛКЕ»

Вот подвыпивший щёголь
вкруг служанки – вьюном.
Пьян он ей, жаркощёкой,
как игристым вином!
В плащ свой девку закутал,
что-то страстно шепча...

Поблудите, покуда
голова на плечах.

Муж вязанку поленьев
и кукан пескарей,
а жена бок олений
тащит в дом поскорей,
чтоб светло и не скудно
разгорался очаг...

Попыхтите, покуда
голова на плечах.

Вот старик неприметный
шмыг за дверь, хитроват.
Он долгонько монеты
будет сортировать.
До последних эскудо
перечтёт при свечах...

Похихикай, покуда
голова на плечах.

В этом флигеле праздник.
И в окне ералаш

рож лиловых и красных,
рук, оглодков и чаш.
Дребезжит аж посуда –
так вопят, топоча...

Попируйте, покуда
голова на плечах.

Вот и граф на горячем
скакуне. И народ
сторонится по-рачьи,
задом, бишь, наперёд,
Блещет панцирь нагрудный
и алеет парча...

Покрасуйся, покуда
голова на плечах.

ХАНСКАЯ ЗАТЕЯ

(касательно рисунка неизвестного художника
«Алиса, кошка сестры»)

фрагмент романа

Валерию Кузнецову

В летний полдень, почитай
в середине эры
элегантная чета
кошек светло-серых,
озабочена с утра
поиском кумыса,
появилась у шатра
хана Каракмыза.

Хан, сто первую жену
оттолкнувши пяткой,
потянулся и зевнул
широко и сладко.
Визгом жёнушка зашлась,
вылетев за полог.
Глянул хан и вспыхнул глаз,
как стекла осколок!

Перед ним, подняв хвосты,
словно кипарисы,
встали в блеске красоты
пращурь Алисы.

Кинул хан супруге кость:
мол, грызи без шума,
жидкую бородку в горсть
взял и начал думать.

Долго думал Каракмыз,
грызла кость шалава...
Наконец-то хан – «Кыс – кыс» -
молвил шепеляво.
И достоинство блюда
(чай, не блюдолизы),
подошли к стопам вождя
пращурь Алисы.

«Вы слышали постулат, -
хан спросил ощерясь, -
будто всё возьмёт булат?
Варварская ересь!
Да, к рукам мы приберём
мир,
но – тихой сапой.
Поглядите-ка в проём,
На северо-запад.
Там, где удалось замкнуть
степь белесым небом,
он пролёт, заветный путь
к племенам нелепым.

Племена те (хоть не лыс,
имя их забыл я)
проживают – будто близ
рога изобилья!

Заяц, лось, кабан и бык –
верьте иль не верьте –
без торчащих косо пик
валятся на вертел!
Щука, сом, осётр, карась
без сетей и лески
прямо в котёл,

раздухарясь,
шлёпаются с плеском!
Обесценив на глазах
лучника сноровку,
рябчик, гусь, глухарь, фазан
дурью прут в духовку!

И за здорово живешь –
не за труд за адский –
золотой медовый дождь
наполняет кадки.
Кадки оные, покрыв,
ставят в подземелье,
чтоб копились до поры
дух и крепость в зелье.

Ну а настаёт пора,
зелье пьют до сшиба.
Благо закуси гора:
мясо, дичь и рыба.
Но до сшиба пьют одни
бороды.

Подросткам
мёда крепкого ни-ни! –
даже из наперстка.
Также и для жён табу
Дикая настойка.
Полагается губу
в ней смочить и только.

Жёнам ихним нет цены:
круглобелолицы,
крупнотелы и сильны,
словно буйволицы!
И бывает, в том краю,
вопреки природе,
преступив через суть свою,
баба верховодит.

Командирский бабий рык
и мужицкий лепет -
ну ответьте напрямик,
есть ли что нелепей?

Есть! Я сам отвечу: есть!

В том краю обильном
всех нелепостей не счесть
и душе чернильной.
Но в обычае тех толп
есть и сверхнелепость.
Вот представьте: мор, потоп
иль пожар свирепый...
Люди что? – Спасти спешат
скарб и малолеток,
зарекаются, грешат
буйно напоследок.
Бога молят горячо,
но и злого Духа
призывают...

Что ещё?

Да! Ревут белухой.

Так ведут себя в беде
Разные натуры.
Сверхнелепо – только те
дальние гяуры.
Посудите, смерть подряд
косит без утайки...
А они что?
Знай плодят
шуточки и байки!
Зубоскалят,
миг спустя
скошены, как травы...
Нет, коль жизнь для них пустяк,
жить они не вправе!

И не зря заветный путь
нам указан свыше.
Но тараны вдаль тянуть
срок еще не вышел.
Снарядить бы, мыслю я,
караван...с цукатом!
Шёл и шёл бы,
не лоя
кайф и в час заката.
Караван без жён в цвету
и без пышных тюков...
Шёл и шёл бы,
слишком тускл

А потом, крепя бюджет,
шкурки отоваривать
И о кошках никогда
больше не судачить.
Ибо встанут на года
трудные задачи.

Да, не в маковом бреду
возноситься, братцы, -
в чужеродную среду
будете внедряться.
И пускай заботы злят
и претят обряды,
не мрачнеть: на кой, мол, ляд?,
а светлеть: мол, рады.

Но –
 любясь,
 горя живьём –
при любом стеченье
обстоятельств, о своём
помнить назначенье!

И весеннюю порой,
где-то ближе к маю,
вдруг услышите пароль
долгожданный «Мяу!».
И пускай связник – как рысь –
с хищною повадкой,
отзыв долгожданный: «Брысь!»
бросьте глуповато».

Хан приблизился и цап
свиток с директивой
из прилежных рук писца –
ох как неучтиво!
«Всё, достойнейший визирь!
Пояснений жаждешь?
Кой о чем, сообрази,
может знать не каждый».
Хан довольно подышал
на перстень червонный
и к фирману не спеша
приложился оным.
«Да не дуйся, словно флюс, -
добавил с укором. –

Много будешь знать – боюсь
состаришься скоро.
Подымайся.

Нет, не юн...
Иль кила – как гиря?
Да, послушай-ка, молчун,
позови Тагира».

Час спустя вошёл в шатёр,
словно утро, бодрый,
всеордынский бузотёр,
тридцать третий отпрыск.
Непокрыт, -

видать, не чтит
правила адата, -
космы до бровей почти.
А глаза, глаза-то!
(Ну как будто два зверька
зыркают из норок!
Им нетрудно засверкать –
чувствуется норов).
И не скажешь, что высок
юноша и статен,
но при нём как бы усох
импозантный тятя.

И воззрясь, что твой сапсан,
на шальное чадо,
хан свой дальновидный план
изложил сверхсжато.
«Мол, сбылось, сынок, ты – вождь.
В дальний край обильный
ты сегодня поведёшь
караван мобильный.
ценный груз один – чета
кошек родовитых.
Впрочем, что же я?

Читай
сей секретный свиток.
Понапрасну, что ли, грыз,
ты гранит науки?»
И фирман свой Каракмыз

с небом распротиться,
и скиталицы, увы,
с собой прихватили
понемножку синевы
в человеческом стиле...

А ещё левей...

Эх-ма!

Словно трюк факира,
всякий раз о, юг с холма
дивен для Тагира.
Там из тёмных тучных крон
блудной, бесшабашной
радугой

на небосклон
мнят вернуться башни,
арки, шпили, купола –
тянутся, чтоб возле
солнца – отчего тепла –
обрести приволье...

Город!

Там дворец отца,
доблестного хана.

Но боится хан дворца,
словно зверь – капкана.

Залы –

оглядишь бегом
только – так огромны.
И ковры, ковры кругом,
даже в нишах тёмных.
На коврах средь роз цветут
девы дивных линий.

Но «глазки»-то тут как тут –
в веерах павлиньих!

Чьи шаги порой шуршат
за ковром провисшим,
при глазах и при ушах?

Чьи?

А выше... выше –
кто взглянул, тот посерел –
кое-где на фризе
щель для ядовитых стрел.
И ещё сюрпризец –
к здравствующим тиграм люк

под тигровой шкурой.
Да в придачу кодла слуг,
что глядят с прищуром.

Да, не зря отринул хан
и дворец, и город,
и подальше от греха,
среди степи среди голой
заяжил,

прихватив семью
с поварами, свитой
да и с гвардией –
семью
тыщами джигитов.

Но пошёл, зная, не в отца
отпрыск тридцать третий.
Ибо часто удалца
можно было встретить
на базаре,

перед ковром
или перед кувшином,
в коем закупорен гром
с молнией и джином...

И на улочке кривой,
пыльной и вонючей,
на которой женский вой
да и лай – не случай...

И среди маленьких лахудр,
рабского приплода...

И близ дервиша, что худ,
будто львом обглодан...

И над пенной быстринной,
На мосту замшелом,
где простаивал порой
он оцепенело...

И среди чадящих блюд
И ноздрей –
в духане...

всадник.

И как будто
вдохновенно просветлел
профиль шалопута.
Он запел.

Как под оркестр.
Только чуть тягуче.
И казалось, мир окрест
наконец озвучен.

«О-да-ра-дар-го....»

И стан, что злобствовать горазд,
хоть столь невинен в отдаленье,
и в вольных табунов бурленье
я оглядел в последний раз.

И речку, что течёт, искрясь,
меж тучных зарослей и город,
вознёсшийся в лазури гордо,
я оглядел в последний раз.

И кажется, что кровь из жил
ушла тихонечко до капли.
И я морокою ослаблен,
и будто бы свое отжил.

Но – даль, задымленная чуть,
куда летят весною птицы,
где солнце по ночам гнездится...
Добраться б и разок взглянуть!

Неведом и опасен путь.
Но как, Аллах свидетель, тянет
к далёкой лучезарной тайне...
Добраться б и разок взглянуть!

И в жилах снова кровь гудит,
и грудь мне распирает буйство,
и я могуч, как чёрный буйвол!
И жизнь пока что впереди.

О-да-ра-дар-го...»

Смолк.

И облаков чета
глядя, как из ложи,
не спешила улетать:
вдруг певец продолжит?
Но похлопал он коня
по шее атласной:
«С Богом – солнце догонять...»
И кивнув согласно,
зарысил, да бодро так,
к стану друг буланный...
Если б ведал он, простак,
про людские планы!

И спустя примерно час,
без больших прелюдий
в эпохальный путь,
кичась,
двинулись верблюды.
И на первом,
по бокам –
из бамбука клетки.
В них зывали к облакам
Алисины предки.

И едва лишь караван
в мареве растаял,
сквозь следы его трава
полезла густая.
Блеклая, но на излом –
словно цепи звенья.
Называется быльём
иль травой забвенья.

Да, и месяц не истёк
(в небе – словно ноготок,
срезанный умело),
а не помнил уж никто
о Тагире смелом.

Сам блистательный отец,
хват и самодержец,
вспоминал, увы, про спец-

караван всё реже.
Ибо грандиозный план
потускнел, размылся,
лишь песчинка заплыла
в почку Каракмыза.
Если боль – ну хоть кричи! –
Что тут власть над миром?

И у прочих - тьма причин,
чтобы забыть Тагира.

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВИД С ПРИСТАНИ»

На море смотрят с пристани –
раздолье... Где граница?!
Но посмотрите пристальней –
гигантская гробница.

На вест и ост, на зюйд и норд,
в какой ни заберись фиорд,
куда ни глянь, туда, сюда,
на дне зарылись в ил суда.
От штормовых валов-зверюг,
от рифов, тех, что гробят вдруг,
от ядер пушечных в упор,
от крыс, несущих чёрный мор,
от гор плавающих ледяных
и от пучин, совсем иных...

На зюйд и норд, на вест и ост
на дне угрюмейший погост.
Но с каждым годом всё белей
на стройных мачтах кораблей
тугие купы парусов,
они – как вызов и как зов,
как далеко издалика
несущиеся облака
над тёмной бездной,
впику ей –
всё горделивей и белей!

На море смотрят с пристани –
раздолье... Где граница?!

Но посмотрите пристальней –
там мужество гранился!

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«МОРЕПЛАВАТЕЛЬ (МАГЕЛЛАН)»

катрен

Купы клёнов забыл ради рей,
луг в росе – ради палубы судна...
Но за дымчатой далью морей
вечно берег мерещится чудный.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВАН АНТУМА
«МОРСКАЯ БИТВА»

сонет

Над красотою парусов-громад
цветные флаги выются так бравурно!
Так высока, нарядна и фигурна
у галеона каждого корма!

И вёсла у галер ровны весьма.
И пушечные залпы так пурпурны!
И волны меж судами в меру бурны
и так их красит пены бахрома!

Стою, весь в замыслах не шибко мудрых:
«В ту шлюпку – мариниста бы!

И тут же
в борт оной бы – тяжёлое ядро!

И из пучины мастера б за кудри
извлечь,
и кисть вручить бы, как оружие:
«Теперь вот битву и пиши, герой!»

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
«НОЧНОЙ АБОРДАЖ»

секстина

В бухте дикой, ночью душной
капер к каперу подкрался,
в мгле бом-кливером белея...
И взирала равнодушно
на опасные те галсы
с высоты Кассиопея.

Вот взлетели разом крючья
и команды крик нервозный!
Пушки рывкнуть не успели...
И переместились круче
все искрящиеся звёзды
царственной Кассиопеи.

Сшиблись – грудью в грудь – пираты,
в хрипе, ругани и лязге
с каждым мигом свирепея...
А вверху, чертовски рада,
в буйной, но безмолвной пляске
прыгала Кассиопея!

Вздыбились вдруг оба брига
и...исчезли!

Лишь в провале –
словно крест – мелькнула рея...
Тотчас перестала прыгать
и застыла – как сковали –
странная Кассиопея.

РАЗГАДКА МОРЯКА С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

сонет

С высокой кормы галеона
он смотрит на пенный простор,
на движущийся разделённо,
но поверху чуждо простой.

Он к морю подался наклонно
и, кажется, взгляд свой простёр
до дна! –

Во дворце столонном

Там будто б царит Эбрастор,

владыка атлантов, чьи деда,
предвидя грядущие беды,
освоили дальнее дно.

И поэтому верит упорно,
склонённый над бездною чёрной,
моряк португальский чудной.

ОТ ЛИЦА ЖЕНЩИНЫ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «НА СХОДНЯХ»

Быть шторму. Тучи мчат над бухтою,
сгущаясь там, над океаном.
От сына я с трудом испуг таю,
уж слышен гром издавека нам.

Ведь там, где с самой дальней тучею
Валы слились уж воедино,
маячит мачтою шатучею
вельбот, вступая в поединок.
И пусть лишь жалкая он кроха там,
пусть гибель рядом непрестанно,
с весёлой яростью среди грохота
звучит команда капитана.

А предо мною лишь залива рябь.
Стою на сходнях в тишине я,
молясь и всё-таки, пугливая,
от злых предчувствий леденяя.

Вцепился в юбку сын ручонкою
и тянет к морю, пострелёнок.
Ох, лучше бы ты был девчонкою!
А то туда ж...Моряк с пелёнок.

К КАРТИНЕ ВАН-ДЕ-ВЕЛЬДЕ МЛАДШЕГО «ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

белые стихи и триолет

1.

По колориту странен этот холст.
Естественно чёрно-коричнев корпус
плавучей цитадели – корабля,
хоть паруса, пожалуй, желтоваты...
Но море, море?!

Чтоб морская гладь
когда-либо и где-либо подобной
была?

Чтобы являла нам
тонов коричневато-жёлто-серых
слиянье?

Да нигде и никогда!
И вот ещё что замечаем: клубы
порохового дыма – ну точь-в-точь
как облака!

И значит, живописец
нам исподволь советует взглянуть
на вечный мир с такой вот точки зренья:
всё гармонично (вопреки душе!) –
вода и люди, ласка и жестокость...

2.

Дым послезалповый и облака
По виду схожи. Да, определено.
Никак в родстве, притом неотдалённом
дым послезалповый и облака?

Выходит, что? Не так уж далека
Злонравственность людей от небосклона.
Дым послезалповый и облака
по виду схожи. Да, определённо.

К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВАЛУН НА БЕРЕГУ»

С той высоты заоблачной – в низину,
на плоский берег угодил валун.
За нрав тяжёлый и крутой низринут,
воспринял он напасть, как похвалу.

Средь стелющихся трав да ив плакучих
он ровно встал – куда ещё ровней? –
как кондотьер в задымленной броне,
седой, но сокрушительно могучий.

Тут не до грусти,
 звон и гам,
и дружный хохот громом
над тем, кто валится к ногам,
упившись жгучим ромом.

Тут вдовы, сползшие с колен
гуляк, седых и юных,
танцуют всласть,
 давая крен
порой - как в бурю шхуны!

Тут влез хмельной матрос на стол,
что даже не обструган,
и сыпет – как горох в котёл –
в толпу он злую ругань.

Вот взят оратор на прицел,
но из пяти бутылок
одна лишь попадает в цель –
в хозяина затылок...

К утру не тяжелей пера
твой кошелёк потертый.
И значит, снова в рейс пора.
катись, таверна, к черту!

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «КРАКЕН»

Лишь закат отгорит, отчарует органно,
и на стыке стихий потускнеет кайма,
на поверхность тускнеющего океана –
из немислимой глуби, из тьмы окаянной –
постепенно всплывает гигантский кальмар.

Десять щупальцев – будто столетние корни,
тёмнобуро-шершавые, в фут толщиной.
И длиной футов в сорок, а то и просторней, -
он раскиснет на штилевой глади покорной,
затаённо, опасно немой и чудной.

А вокруг, уходящий в свинцовую мутность,
океанский, таинственно-мрачный простор.

А вверху, проступающие поминутно
сотни звёзд, меж которыми почему-то
ятагана осколок, блестящ и остёр.

Всё забыто кальмаром: смертельные схватки
с кашалотом и стаей акул заодно...
И забавы, когда он кренил залихватски
бригантины и, верен давнишней повадке,
проводил их, притихших, на самое дно...

И придонной горы жаркий вздох, что контузил
ненароком его...

И любовный недуг,
когда он истомился совсем, омедузел,
и лишь свившись на миг с соплеменницей в узел,
излечился и вновь стал могуче-упруг...

И бесплодность упрямых бессчётных попыток
сдвинуть мёртвого монстра, что льда холодней,
столь чужого на дне, где живого избыток...
И родная расщелина даже забыта,
та, которой уютнее нету на дне...

Всё забыто, всё вздор лёгкопенный, пацаний...
Он глазища опаловые – как со сна –
немо выкатил на мириады мерцаний,
и в спокойном надолго застыл созерцанье,
свою общность с вселенной ночной осознав.

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «БЕЗУМНЫЙ ЖАК»

октава

«Вот яблоня в цвету!

Вокруг неё
шмели и пчелы золотистой тучей,
гудят, звенят...

Что, что?!

Да чушь! Враньё!

И что вы дёргаетесь - как в падучей?!

Прочь!

Что в меня вцепились вы, зверьё?!

Пустите!

К яблоне хочу, к цветущей!»
От виселицы той средь бела дня
чуть оттащила бедного родня.

С ДАЛЁКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

октава

Издалека едва заметны Нюрнберг
и всегерманский слёт,
и потускневший, побитый тленом,
хоть всечеловечий,
хоть праведный, буквально страшный суд.
Но отовсюду виден мастер Дюрер
с крутыми облаками по колено,
с космическими трассами по плечи
и со всемирной славой на весу.

НАСТОЯТЕЛЬ НА ПРОГУЛКЕ

(по одноимённой картине неизвестного художника)

поэма

Наталье Кулешовой

Наш монастырь обширен и высок,
и расположен на холме пологом,
поросшем кое-где чертополохом.
А от того холма на юг – лесок.

Там над тропой постукивает дятел,
И вебрь порой почешет горб о ствол.
И – стар, костляв, однако же не квёл –
там что ни день гуляет настоятель.

Чудно гуляет! То пойдет с ленцой,
то заспешит внезапно что есть мочи,
то разведет руками, то лицо
скривит, как шут какой, то забормочет.

И если, осмотрительней сурка,
у тропки, за платаном в два обхвата,
застыть, то можно этак воровато
подслушать бормотанье старика.

И, каюсь, я уже не раз, не два
так застывал – из любопытства просто.
Прильнув к коре, корявой, как короста,
стоял и хохот сдерживал едва.

И нынче вот, как бы оторопев,
стою я неподвижно у платана.
И жду, когда знакомая сутана
залиловеет справа на тропе.

Идёт! И – будто бы на встречу с кем-то
Приятным...

Я – быстрее за ствол и – жду...

Выглядываю – ха!, уж на ходу
растрёпанным и тощеньким букетом
помахивает добрый наш аббат!
И знай себе бормочет хрипловато.
Опять – за ствол.

Но кажется, ребят,
ребят, как те цветы, слова аббата:

«...и цвет отнюдь не свет!

Нет, нет и нет!

Пусть нежно-голубой, пусть золотистый,
пусть белый-белый, словно первый снег,
пусть фиолетовый, как аметисты...

Нет, по родству со светом цвет – лишь след
(и это божий умысел и чудо!).

Однако мне ещё неясно: цвет
он – след туда (бишь, к свету) иль оттуда?
А может...»

Но дальнейших быстрых слов
не разобрать мне, ибо наш гулёна
уже своею плешкой округлённой
поблёскивает слева меж стволов.

Но я за ним не устремляюсь резво,
перебегая от ствола к стволу.
Боюсь. Ведь наш аббат - такой шалун! –

вспять поворачивает вдруг и резко.

Я снова тихо жду – сурок сурком.
Ага! Поодаль парусом надулась
сутана! Как и думал я, рывком
он повернулся. Семенит, сутулясь,
сюда.

Я застываю за стволом...

И вот выглядываю осторожно.
Идёт с букетом – будто с помелом.
Зажмурился, скривился. Ну и рожа!

Ох! Из рта и даже из ноздрей
неудержимо рвётся дикий хохот!
Сдержатъ, прижать, зажать его скорей,
чтоб не прорвался, дьявольский, с наскока!

Вот так: двумя ладонями. Заслон
поставлен мною, слава Богу, впору.
Но хохот мой, не выпущенный вон,
внутри крушит всё, чую, без разбору!

Стою, к стволу спиною привалясь,
зажав ладонями и рот, и ноздри.
Как там аббат? Вдруг что-то заподозрил?
Не дай-то Бог!

Ведь для меня он – власть.

Полегче вроде. Страх, он вправду лечит.
Выглядываю.

Вправо, в частоту
стволов аббат уходит. Так сутул,
как будто бы весь мир взвалил на плечи.

И где ж букет, который полысел
от долгого помахиванья всеу?
Ужель аббат поднес его лисе?
Ну нет! Скорей красавице косуле.

А хорошо, что на сей раз молчком
прошёл он мимо моего платана.
Услышь я только слово, нипочём
не справился бы с хохотом фонтанным.

Как и всегда, у дальних тех олив
он повернёт.

За ствол и застываю,
но о своей беде не забываю,
о том, что по-дурацки я смешлив.

Я говорю себе: «Ты – сирота,
кому и с неба нету отголоска.
Тебе ли беспричинно хохотать,
подобно тем пажам, в парче и блёстках?»

Стою. Тук-тук, тук-тук в тиши глухой.
И как он, этот дятел, не устанет!
Вот треснул под ногою сук сухой.
А вот и накатило бормотанье.

Ну хоть не слушай! Кругом голова!
Такой представьте результат улова:
Однообразно-скользящая плотва.
Так и аббат одно бормочет слово:
«Слова, слова... Слова, слова, слова...»
Бормочет монотонно и печально.

Затих. И вдруг с восторгом: «Мысль нова!
Их надо разграничить изначально.
Слова – идущие лишь от ума,
в обход души и без посылы свыше,
они – слоистый и густой туман,
непроницаемый туман, привыкший
именоваться светом...

И оно,
уменье изъясняться словесами,
идущими лишь от ума, черно!
Черно, хоть красноречием мы сами
его зовем...»

Примолк. В лесной тиши –
ни звука. Притомился, видно, дятел.
И снова вдруг: «Слова же – от души,
слова – как будто выдох благодати
Господней...»

Ну, а дальше, хоть привык
я к речи суматошно-хрипловатой,
но отдаляющегося аббата
уж не расслышать толком мне, увы.

И чётко только слово «светоносны»
доносится ко мне издалека.
Выглядываю. Блеск – как будто росный –
на глянцевой тонзуре старика.

Аббат уходит, не сутул почти –
осанка, наконец, согласно сана.
Да, не из тех, кому кричат: «Осанна!»
однако же и в холе и в чести.

Да, чтут его в монастыре богатом.
Хотя порой кой-кто так глянет вслед,
что, мнится, будь при нём сейчас стилет,
вонзил бы в спину чтимого аббата!

За что его бы?...Знать то не дано
таким, как я, а может статься – рано.
По мне б, коль старикан такой чудной,
над ним не грех смеяться (не злорадно)
Но ненавидеть? Это чересчур...
Ах, чёрт меня! Как быстро и нежданно
он повернулся!

Я же у платана
остолбенелым олухом торчу!

Быстрее за ствол!

Ужель успел заметить?

Заметил – ведь подпрыгнул аж чуток!
О! Ох! Эх...Но – довольно междометий.
Заметить – не узнать.

Что ж, наутёк
пуститься? Только...я же не косуля
и не сурок, и даже не енот.
Стою, чуть жив. Стою и жду грозу я.
А может...может, тучу пронесет?

Вот помолюсь заступнику всех бедных...
Но тщетно! Днесь Господь неумолим.
Под самым ухом вспыхнувшим моим
какой-то новый, звучный и победный
я слышу голос: «Давний друг мой дятел!
Представь, иду я, с думой о своём,
вдруг вижу: призрак свился со стволом!
Да вспомнил, что такой же бойкий нос
я видел в нашей трапезной сегодня...

Ты говоришь, что ветерок-негодник
туда, видать, похожий лист занёс?
Ну нет! Тот нос отнюдь не бестелесный!
На нём веснушек стайка прижилась,
и расположен он весьма уместно
меж светло-серых любопытных глаз!
Ещё вблизи – ушей, рук, ног по паре.
Ещё...увидишь только оголя...
Всё целиком зовется – Николая.
Такой вот есть у нас приятный парень.

Его ты, друг мой дятел, меж стволов
здесь замечал. И вновь заметишь скоро.
Так я прошу: ему десяток слов
ты передай без всякого укора.

Мол, суть лишь в буковке.

Он кто у нас?

Послушник. Повторяю с расстановкой:
По-слуш-ник. Не – под-слуш-ник!

И неловко

ему здесь тенью прядать, хоронясь
пугливо за платана ствол толстенный.
Не лучше ли по тропочке лесной
туда-сюда, спокойно и степенно
прохаживаться рядышком со мной?
Высматривать цветы окраски алой
и слушать, будто «баюшки-баю»,
какую-нибудь речь мою,
как доброму послушнику пристало...

Вот что тебя просил бы передать
тому, кто в роли призрака здесь кружит.
Да снизойдет за это благодать
на гнёздышко твоё, пернатый друже!»

И – тишина.

Преодолев свой страх,
выглядываю...Оказалось, сдуру! -
Я вижу округлённую тонзуру
всего лишь в трёх – не далее! – шагах.

Я не дышу. В тиши шуршит сутана
иль пауки свои силки плетут.
Выходит, что же? Он стоял вот тут.

Стоял с другой – той – стороны платана.
Стоял и обращался напрямик...
Где ж настоятеля дружок пернатый?
Не вижу. Улетел в свои пенаты.
Когда? Да уж не в этот самый миг!

Выходит... О какой же я тупица!
Хотя... Добряк ещё не вдалеке!
Иду! И надо мне поторопиться,
дабы нагнать, покуда он в леске.

Спешу. И мысль моя подобна блику:
«Как славно будет на тропе вдвоём!»
И глупую счастливую улыбку
я ощущаю на лице своём.

ИЗУМЛЕНИЕ

(отталкиваясь от картины неизвестного художника «ЕВНУХ»)

монолог-перепады

Султан – благодарение аллаху –
спокоен, многомудр и солнцелик.
Меня ж, его раба и бедолагу,
замучили озноб и нервный тик.

Ведь выбрав лишь одну из нежных гурий,
владыка лишь в вечерней тишине
к себе, на леопардовые шкуры,
зовет её (чтоб разглядеть на ней
алмазы и рубины: нет ли ложных?),
А я в его гареме день-деньской,
среди сотни жён и сотни же наложниц,
без панциря и палки под рукой.

Фатьма следит за мною, словно рысь,
и держит спицу, будто дротик, Дженни.
Вот-вот запустит чувяком Нино,
а Паула, та греческою вазой!
Готовит злое зелье Беатрис.
Коварство у Картин в любом движении.
И в уголке подвох очередной
замыслив, шепчутся Лолита с Азой.

В гареме лестница лишь в семь ступеней.
Спускаюсь я, распялил рот зевок...
Ах! Наступил в каком-то отупенье
я на полу халата своего!

Я падаю, хочу подняться мигом,
но боль пронзает...

Как аллах суров!

И – словно с плёса шумные фламинго –
красавицы с подушек и ковров
взлетают и – сюда все, на ступени!
От лиц их, от серёг и бус рябит
в глазах моих, и в крайнем изумленьи
они, глаза, не вышли б из орбит!

Фатьма и Дженни рады подоткнуть
под голову мою свои ладони.
Нино тихонько гладит мне плечо.
Во взгляде Паулы такая жалость...
Ступеням Беатрис пророчит кнут!
Катрин, бедняжка, за меня так стонет!
«Эфенди! – шепчет Аза горячо, -
за лекарем Лолита побежала...»

КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ДРАМАТУРГ»

кольцевик
(читать минимум дважды)

Оплыли уж все три свечи.
Кто ж там, в трубе, шаманит?
У пьесы ясен был зачин,
концовка же в тумане.

И как на сцене, на стене
неясное движенье.
Что происходит у теней?
Сближенье? Отторженье?

И на столе твоём, и под –
перемещенье пятен.
И вновь герой,
который подл.

И страшен,
вдруг....понятен!

Как голенький, он пред тобой
(опали все покровы):
с душой полуслепой, рябой,
телесно лишь здоровый.

Ему не к радости цветок
не к трепету причастье...
Он так по сути одинок,
невзрачен и несчастен!

И надо, чтобы он, такой
и был увековечен...
Глухой полночный непокой
Вокруг.
Оплыли свечи.

Оплыли уж все три свечи.

И т.д.

ПЕРЕД КАРТИНОЙ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПРОГУЛКА»

сонет

Столетий несколько назад
идёшь ты по аллее сада.
Стою, гляжу в твои глаза.
Как в щель, гляжу на рай из ада.

Твои глаза (как и весь сад)
цветут спокойною отрадой.
Туда бы!.. Но под небеса
возведена, увы, ограда.

Как в щель, гляжу, гляжу на рай.
Подглядываю, точно зная,
что за спиной моей сутулой

в полшаге чёрная дыра,
дыра кромешно ледяная

чтоб думать,
 думать долго и упорно:
зачем на белом свете жил бедняк?
И почему б при небольшом старанье
ни нацарапать имя – пусть хоть так! –
на верхней, чуть наклонной, ровной грани?

КИТУ
(с картины неизвестного художника)

Чудо-юдо, рыба-кит,
без понятия о мере,
кто иль что тебе велит
разогнаться и – на берег,
чтобы в муках околеть
вне родной своей стихии,
чтобы бедный твой скелет
подняли на щит витии?

Чудо-кит! Король сумо!
Зря взываю и внимаю...
Не приму тебя умом,
а душою принимаю.

СОНЕТЫ
(и не только)

ОБОРОТЕНЬ

К проклятой сопке Еропка шагал,
парень не робкий.
Видит: Олень Золотые Рога –
слева от тропки.

Тотчас послышались,
 птаха напугав
даже на сопке,
свист оперённой стрелы и – «Ага!» -
возглас Еропки.

Возглас победный,
 победный притом
возглас Еропки в обличье
доброго молодца –

вдруг
там, на тропе,
чуть видать за кустом,
вскинулся,
радый добыче,
рыжий бирюк!

ЕРОПКА И БАБА-ЯГА

Рыскал Еропка сторонкой лесной
в рыжей бирючьей шкуре.
Видит: избушка под тёмной сосной,
знамо, на ножках курьих.

«Ножка – продукт как-никак, а мясной!» -
мысль в головенке дурьей.

Прыг!

И... в капкан волосатой плюсной
вдруг угодил мазурик.

Рядом присела на камень карга.
Глянула и железяку разжала
дланью сухой и слабой.

И говорит: «Я, вестимо, Яга.
Токмо погубит меня, чаю, жалость,
ибо допрежь я – Баба».

ЕРОПКА И РУСАЛКИ

Долго хромал он,
поднаторев
в волчьей несладкой доле...
Замер: русалки по веткам дерев
выше полезли, что ли?

Крикнул Еропка, жалеючи дев:
«Отрок я!» -

вдруг те – в роли
яблок –

все наземь!

И, как обалдев,
щиплют его...

До боли!

Вскинулся отрок: «Не время услад!
Прочь!»

Как взвопят раскрасавицы в злобе:
«Влад, помоги – рвёт стая!»

В чашу Еропка,
припомнил, что Влад
рад всем помочь,
помахать, бишь, оглоблей,
шибко не рассуждая.

ЕРОПКА И ШИШИГА

В сумерках,
в береговом камыше –
плач и слова меж всхлипов:
«Некому даже... подбросить... мышей,
чтоб повизжать могли бы!»

Голос знакомый,
хоть не по душе,
сунулся и –
как влип по
брюхо...
На взлобке, что ржаво замшел
мерзким торча полипом.

Ныла шишига,
в которой признал
злыдню,
что нынешним летом
сгнула из селенья...

Пятясь, шептал бедолага: «Сполна
ей – за подвохи, наветы...
Мне за что?
За оленя?»

ЕРОПКА И ВОДЯНОЙ

На берегу и уснул.
Весь – как хвост,
после такой-то встряски!
А пробудился, глядь – месяц средь звёзд,
и водяной средь ряски.

«Слушай, дружок!
Чай, продрог ты насквозь?»

Прыгай же без опаски
в воду!
Надуюсь и волка авось,
заворожу в подпаска!

Только подумай,
в сиянии лунном

будешь пасти наливных карасей.
Днем же дремать на донце...»

«Нет уж! – Еропка в сердцах даже плюнул. –
Лучше я волком,
но также, как все,
буду греться на солнце».

ЕРОПКА И НЕВЕДОМОЕ ПЕНИЕ

Двадцать шагов и прилѣг он на мох...
Зенки открыл: краснели
близко стволы,
и понять он не мог:
где?
Наяву?
Во сне ли?

Слишком уж дивно –
аж в горле комок
встрял и дышалось еле –
пенье то ль птицы,
то ль Лады самой
лилось с далёкой ели.

Пенье внезапно прервалось.
Поник
оборотень.
Мрачновато прохмыкал:
«Ночью и я...повою...»

Тут показался страшный старик.
Наперерез затрусил горемыка
росною муравою.

ЕРОПКА И ЛЕШИЙ

Молвил Еропка: «Будь здрав,
будь хоть тать!»
Леший повёл носищем:
«Оборотень?
Из венедов, видать.
Ясненько: в скорби рыщем.

Не снизойдёт-то сама благодать.
Сядь-ка на хвост, дружище.
Слушай.
Чтоб молодцем вновь тебе стать,
меньше думай о пище».

Нынче Пров-кузнец выковал булат –
уж по праву мне,
 уж по шири плеч!
Вот сижу, вострю о кремень клинок...»

Огний Змей, Ведьмак да хмельной Услад –
коль троим не срок завтра в землю лечь,
то уляжется, видно, твой сынок.

БРОСИЛА-ТАКИ...

Бабуся,
 в камены уста
поцеловав Перуна,
уснула рядышком, устав...
А пробудилась юной!

И серебрится неспроста
смех тихий над лагуной –
русалки пляшут на хвостах
в искристой зыби лунной!

...Проснулся спозаранку дед
в предчувствии большой беды.
Ворча –
 «Шатунья сроду!» -

на берег вышел;
 бабки нет!
А только мокрые следы
от истукана в воду.

УТЁС

Есть на Волге утёс...
Песня.

Святогор едет берегом.
 Кроны колышет
конский храп,
 ну а топ потрясает гробы
за сто верст!
 «Аль возжаждал мой конь?» -
 Глас повыше
вековечных дубов. –
 То-то шибко шалит!»

И громадина конь с гривой буйною рыжей,
в зыбь речную по грудь забредя,

начал пить.

До стремян зыбь опала.

И вот – ниже, ниже...

И – гляди, заплескалась уж возле копыт!

Слитный вопль в поднебесье с поречья вознёся.

Даже рыбы глухие стенанья издали...

В небе ясном – сверк молнии!

Нет чудищ дух.

Вместо – мрачный утес.

Век, другой...

На утёсе

ощутит вдруг в себе атаман разудалый
святогоров космический дух!

ВСКОЛЬЗЬ О ПТИЦЕ ГАМАЮН

Был он когда-то отчаянно юн,

думал пред публикой,

что рукоплещет:

«Вот как пою, мол,

А Гамаюн,

вещая птица,

молчит, как подлещик!»

Нынче же он побелел,

словно лунь,

и перед зеркалом с дюжиной трещин –

«Плюнь в свои зенки, - командует, - плюнь!

Ведь не расслышал ты песни той вещей!»

Важны, конечно, и станы, и рык,

важны, конечно, и пылкость и пот,

только певцам отпускается свыше

разновеликие всё же дары:

меньший тому, -

кто СВОЁ лишь поёт,

большой тому,

кто ЧУЖОЕ расслышит.

КОТ ЛЮБ

У того ли кота золотистая шерсть,

у того ли кота стебелёк меж усов,

и тому стебельку надлежит цвель и цвель,

будто не был он сорван под уханье сов.

У того ли кота сладких песен не счесть,

но они – вот беда – для ночных лишь часов.
А подаст ему Лада-хозяйюшка весть:
и уйдет он сквозь самый надежный засов.

Он уйдет, дивный кот по прозванию Люб,
он уйдет (зачатую гораздо,
ох, гораздо же раньше, чем жизнь!),

а за ним и тепло ваших рук,
ваших губ,
Ну а следом и радость –
держи, не держи.

ЛЕДАЩИЙ

Ну да, маленько я со сна запух
и в голове нечёсаной солома.
И что с того?
Напрасен ваш испуг.
В моих руках ни кистеня, ни лома.

Я посторонний.
Вовсе.
Дух и дух.
Мне по фигу и люди, и хоромы.
Мне переждать бы лето:
время мух
и пыли, и сумятицы, и грома.

Я с осени зарююсь снова в стог
да в самую духмяную серёдку
и спать, спать, спать...
до поздней, до весны!

И пробуждаться, чтобы сладкий вздох
продолжил лишь один зевок короткий...
И - снова в сны,
в несказанные сны.

СЕДЬМОЕ НЕБО

Ох, и опасно на грешной земле,
меж людей,
жить в ожидании чуда!
Деву на небо седьмое позвал улететь
ветер,
веселый приبلуда.

Как напевал-то и как обвивал, чародей,
в высь устремляясь с ней круто!

Если с седьмого-то неба да вниз поглядеть:
город –
игрушек лишь гряда.

С неба седьмого-то,
с радуги да облаков,
можно упасть,
а спуститься
и не мечтай по-иному.

Ветер-то позавивался да и – был таков!
Вскрикнула дева: «Я – птица!»
И – блёстким камушком в омут.

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ

Как на острове Буяне
возлежит Алатырь-камень.
Но нельзя его, миряне
трогать алчными руками.

Это ж не медовый пряник
и не кошелёк с деньгами...
У него три ровных грани
сплошь исписаны стихами.

А меж ними грани – три! –
цвет меняют!
И исходит
с верхней, самой малой грани
синий луч!

А изнутри
при безрадостной погоде
дивно музыка играет...

ЕСЛИ...

Если шиш, гуляя в чаше,
срежет крепкий боровик,
угощение сейчас же
приготовит на троих.

После всклень наполнит чаши
(за столетья по привык)
медовухою крепчайшей
из подземных кладовых.

Справа, знамо, сядет леший,
слева – водяной,
безбров,

утконос.

Леший,
первым захмелевший,
запоет частушки про
Леспромхоз.

В НОЧИ

Мы дожимаемся, признаться честно,
бессонницей и черною тоской.
И потому в ночи,
на кухне тесной
играю в шашки с домовым Лукой.

Лука,
когда он обозрим телесно,
на женский взгляд, мужчина никакой:
метр с кепкою.
Но мне с ним интересно
как с особью,
отчасти лишь людской.

На кухне он незрим –
а вдруг в ночи
жена решит огурчиком похрумкать
иль «Берлиприл» запить морковным соком?

Она и без того всегда ворчит:
«Опять, мол, шашки и вторая рюмка...
Не можешь выпить даже без заскоков!»

ЕЩЁ О ДОМОВОМ ЛУКЕ

Ну до чего Лука лукав,
даже где-то злюка –
сунул луковку в рукав
архалука,

чтоб украдкой полакав
бражки из урюка,
запашок отбить и,
кайф
чуя, хрюкать.

Слышат хрюк жена с котом.
Первая – косясь на суп
закипающий.
Второй же –
нервно дергая хвостом...

Я ж незримого пасу
с сонной рожей.

О ВЕДЬМАХ

(из рассуждений Луки)

Ведьмы бесхвостые - низшая каста,
их даже нищий чехвостит.
Впрямь недоделанным нечем похвастать,
кроме, пожалуй что, злости.

И почитаемы больше гораздо
ведьмы, у коих есть хвостик.
Будь он хоть кисточкой куце-вихрастой,
или прямым, как гвоздик.

Но превозносят, забыв о приличии,
самые высокомерные снобы
на протяжении веков
ведьмочек редких,
у коих в наличии
хвост завитушкой задорно-особой –
в пять аккуратных витков!

ОСЧАСТЛИВЛЕННЫЙ

Домовому Луке

Дырок от бубликов маковых дюжина.
Непостижимо уму –
ведь ни одна, ни одна не надкушена,
все –
только по одному!

Нету воздушней, изысканней ужина,
сюнок смахну бахрому...
Главное, я осчастливлен заслуженно.
Ведь,
словно притчевый мул,
с мягких молодых ноготочков до старости,
вез,
преисполненный рвенья сугубого
горы смурной ерунды...

И вот теперь залоснился от радости.
Дырки от бубликов!
Нет для беззубого
лучше на свете еды.

ЖАР-ПТИЦА

Взлетала высоко.
 Неисправима,
накручивала за витком виток.
Сияя радужно.
 Но серафимы
узрев меня,
 пускались наутек.

Меж облаков летала.
 И – за ними.

Зачем?! –
 Долгонько было невдомёк,
что для меня Иван-дурак гонимый
насыпал горстку зёрен на пенёк.

Скорей, Иван, накрой меня овчиной!
Я буду и без всякого зерна твоей.
И от тебя вовек не отлеплюсь.

Ведь ты земной всамделишный мужчина!
А что дурак... Так это бабка надвое
сказала.
 В этом минус,
 но и плюс.

ЧИНГИСОВА ЯСА

Был шумом курултая орел обескуражен
настолько,
 что поднялся до хлопьев кучевых.
Так ханскую Ясу перевозносили в раже
(частенько тектоничен в дремучих душах сдвиг).

Отныне прежестoko карались блуд и кражи,
и злыдень,
 кто,
 от давних обычаев отвык,
не приютил скитальцев замызганных,
 и даже
гурман,
 кто обожрал – хоть раз! – сородичей своих.

Но смертью самой лютой карался тот, презренный,
кто при атаке конной, внезапно-ураганной
товарища,
 что рядом,
 не выручил, не спас...
Обгладывали труп казнённого гиены...

И вот уж мчится мстящая стена!

Что ж мы?

А мы глупеем с каждым днем.
Мы восклицаем: «С нами Бог!»,
хоть с нами
уже давно сроднился сатана.

ПОСЛЕ БИТВЫ

Багряным стянута узлом
поленница с телами...
Но вот всгудело и в пролом
меж туч рванулось пламя!

То пламя душ!

Теперь в былом
косуля с трюфелями
и песни за хмельным столом...
Теперь уж над полями,

лесами и раздольем вод,
над кровлями хибарок
им неизбежно пламенеть –

там,

где искристый хоровод
комет,
где яро ярок
блеск молний, а не блеск монет.

АКВАРЕЛЬ

На этой пробной, что ли, акварели
степь ржавая,

палаток белизна.

Откинут полог ближней.

Не узнать
нельзя того,

кто там –
сам Марк Аврелий!

Усевшись на чурбане – вот те на! –
расправил на колене обгорелый
(в бою?) папирус

И поднаторело
Выводит, что писец твой, письменна.

Что ж пишет,

к новому готовясь бою,
кудрявый импозантный император?

А пишет Марк Аврелий, что пора,
давно пора увидеть пред собою
в противнике остервенелом брата
и пожелать ему добра.

ГИБЕЛЬ ПОМПЕЙ

Как говорится, ни в одном глазу и
быть толерантным не забыт зарок.
Спокойно с высоты своей Везувий
взирает на луга, на пыль дорог.

На пальмы –
каково, мол, на весу им
удерживать плоды такие впрок...
Но что там?
Пёстро копошится,
всуе,
как и всегда, поди, людской мирок.

Там праздник,
там пиитов блещет россыпь.
Один зудел, зудел, упорней гнуса...
«Божеественно!» - отозвались в толпе и
летят к ногам занудливого розы.
Везувий – «Тьфу!» - брезгливо содрогнулся...
И – где Помпей?!

АСПАЗИЯ

И почему вдруг вспомнила Аспазия
забытого давно ученика?
Нескладного почти до безобразия:
то лоб испачкан в чём-то, то щека.

Вопросы задавал порой в экстазе и
сам пунцовел при этом не слегка.
«Часто, помню, на последней фразе я
немного остужала паренька,

влюбленного ничуть не даровито.
Увы, увы, такой родится,
чтобы
пасти лишь коз...» - так Фебова сестра
подумала,
и взяв бесценный свиток,

вдруг вспомнила и имя недотёпы –
Сократ.

ДАВНЕНЬКО, НО...

Мудрый Хирон наставлял так Пелея в пещере:
«...крепко держи и молчи сам, немее немых,
пусть тебя ранит,
 пусть рык исторгает, ощерясь,
крепче держи лишь и не отпускай ни на миг!»

Так и держал он Фетиду,
 хоть когти пантеры
тело терзали под молнии выкриков злых.
И додержал-таки, доблестный:
 после истерик
в хищных чернущих чертах
 проглянул кроткий лик.

Всё – как вчера,
 и так будет, наверное, завтра.
Те же Фетиды,
 пантер потревоженных злее,
вдруг выпускают преострые когти свои...

Только наставников мудрых, Хиронов-кентавров,
мы, жизнестойкие дурни-Пелеи,
всех подчистую давно извели.

РАЗВАЛИНЫ

*На руинах дворца обитают
во множестве змеи и скорпионы.*

Из книги немецкого археолога

Был ассирийский царь высоколобым,
но проявлялось свойство это странно:
им набиралась личная охрана
из знаменитостей по части злобы.

И доминанта злобы очень рьяно
преображала гены и микробы
(мутация вершилась вне Европы,
в районе современного Ирана).

Теперь,
 открыв руины,
 самый ловкий
из археологов (то бишь шпионов)

понаписал: мол гады там кишат...

Так точно на развалинах Рублёвки
увидит некто змей и скорпионов
и не поймёт, конечно, ни шиша.

ОСЛЫ И БАРАНЫ

Я сегодня в книжонке прочёл,
будто стоил дорожке в Двуречье
во сто раз неказистый осёл,
чем баран,
что на вид безупречен.

Ведь осёл, не глядите, что гол,
Он работою очеловечен.

А баран...

«Бе» да «бе» и побрёл
покрывать лупоглазых овечек.

Мы ведь те же ослы.

Мы при деле.

Мы – везём.

Нам привычен хомут.

Мы сильны, терпеливы, тихи.

А другие... Включите-ка телек.

Во! Как блеют!

То бишь выдают
мировой сногшибательный хит.

ВООБРАЖЕНИЕ, СТОП!

А в Ниневии жили эзотерики.
Пробраться бы мне в прошлое ползком.
И поглядеть на дивные мистерии
хотя б одним прищуренным глазком!

И... что уж тушеваться?

Под истерики

Накрыть одну,

как бабочку – сачком!

Затем очнуться в нашем тихом скверике
на клумбе неухоженной,

ничком.

Расслышать: «Пьяный бомж...»

«А может, жулик

подельником побит...»

«Таких не жалко...»

«Щас саданут его по рёбрам, чтоб...»

И, вскинув нос от лепестков пожухлых,
поблизости узреть «УАЗ» с мигалкой...
Воображенье, стоп!

ШУМЕРСКИЙ МОТИВ

Я пробудился, чувствуя удушье,
и было мне себя безмерно жаль.
Я пробудился от внезапной стужи,
хоть ночь была всего-то лишь свежа.

Я пробудился, ибо малодушье
кололось,
наподобие ежа...
А снилось мне, что посох мой пастуший –
скок, скок –
вприпрыжку от меня бежал.

Да, вещий сон, однако запоздалый.
Заря взгорает ярко – значит, рано
наступит день. Мне б не дожить до дня...

Куда без паствы я?
В какие дали?
Любая даль,
как ни была б бескрайня,
отныне – западня.

АККАДСКИЙ МОТИВ

Ты по обочине двигай,
тропой, что пометили псины.
Ведь на дороге не мулы, спецы лишь брыкаться.
Нет, там несутся –
поток стальным и сплошным –
лимузины,
миг! – от тебя на гудроне лишь рябь аппликаций.

И пошевеливайся!
Что ты варежку, право, разинул?
Так повелось уж со времён допотопных аккадцев:
если ты человек,
то богов всемогущих корзины
денно и ночью носи и не смей пререкаться!

А обессилев,
отрнув всегдашний глубинный апломб:
я человек, мол,

и раб я не чей-то, а божий –
что ж, попытайся-ка влиться в лощёное стадо,
что налегке,
за маячащим радужно-хрустким баблом
мимо несётся...

Но всё же, мой слабый, но всё же
трижды подумай, дружок: а тебе это надо?

СТЕНА

«Я – Набопаласар, царь Вавилона.
Ты – Имгур-Бел, великая стена,
та,
что местами до травы зелёной
была за годы смут низведена.

Но вот моею волей непреклонной
ты снова вознеслась,
мощна,
грозна,
и слившись с синевою небосклона,
спасаешь от любых напастей нас.

Я повелел и здесь рабов сто тысяч
трудилась день за днем,
и ни единый
не смел хотя б вполголоса стенать...

Теперь велю на главной башне высечь:
«Пред Мардуком, всевышним господином,
замолви слово за меня, стена!»

НАСТАВЛЕНИЯ ВАВИЛОНСКОЙ БАБУШКИ

«К богу немые руки ты не воздевай –
бог на чумазах взирает особенно строго.
Да и негоже, дружок,
оперившись едва,
жалобным писком пытаться владыку растрогать.

Нет, поживи, потрудись-ка, родимый, сперва,
горбясь над глиною иль над сохой двуроной.
Труд свой упорный
лишь в полном бессилье прервав,
можешь поднять умоляющий взгляд ты на бога...

Помни ещё: лишь поднимется солнце в зенит,
и не подумай болтать и, тем паче, присесть,
встань на гордыню свою ты свое же пятой.

Будь ты могуч и повсюду к тому ж знаменит,
в час,
 когда Шамаш стоит в средоточье небес,
смолкни пред ним и навтыяжку стой!

РЫБАКИ

Я рыбаков тех с древних побережий
сочувственно понять, ей-ей, готов.
И наяву,
 и в снах (ничуть не реже)
вода плескалась зыбко у бортов
и, мутная, просачивалась в бреши
их тростниковых лодок и плотов,
пугая исподволь простых и грешных
возможной карою за то и то...

Конечно, рыбаки те,
 что ни утро,
подбрасывали к потолкам детей
и улыбались солнечно...
 Однако
считали, будто злые мощь и мудрость
скрываются в пучине,
 в слепоте,
в апартаментах Эа,
 бога мрака.

ВЫЕЗД

«Когда я выезжаю из ворот
на вороном храпящем исполине,
то с высоченной башни на народ
немой палач глядит,
 орла орлиней.

Обязан всякий ведь –
 будь скотовод,
будь каменщик –
 в размызанную глину
семижды кряду падать на живот,
затем семижды кряду же – на спину...»

Просекши клинопись,
 не без испуга
профессора взглянули друг на друга,
потом, украдкой, пялились в трюмо –

боялись углядеть в себе крупницы
тщеславия державного убийцы.

которой кот наплакал,
будет золотишку рада.

УГОВОРЫ

«Ты сама говоришь, что сметливый,
что считает уж до десяти.
Что ж ему, околачивать сливы
или коз шелудивых пасти?»

«При отце в ойкумене бодливой
пареньку безопасней, учти!»
А глядишь, он пойдет горделиво
по тому ж, что и тятя, пути!»

«Отдавай же папаше сынка!»
«Пусть он смочит в господском нектаре ус»!
«Пусть наденет на пальцы перстни!»

«Пусть на всех поглядит свысока!»
«Леонардо да Винчи – нотариус!
Как звучит-то, а?
Будто песня!».

КОНЧИНА КАТЕРИНЫ

Быть тенью,
в тёмном лёгком одеянье
Мелькать неслышно где-то в стороне,
чтоб подступали добрые крестьяне
с упрёками к затурканной родне.

Быть тенью,
чтоб услышать: «Не протянет
такая, верьте мне, и двух-трёх дней...»,
и чтоб расщедрился на подаянье
тот, кто и сам церковных крыс бедней.

Быть тенью,
чтоб без слёз и без молений
у сплошь заросшей щелистой ограды
маячить и маячит чуть рассвет,
но
не видя, как обычно, в отдаленье
веселого сыночка Леонардо,
однажды стаять тихо и бесследно.

СЛУШОК

Представьте, оказалось Гутенберг
попал не в рай прилизанный,
а в ад,
и быстренько там Люцифера сверг,
поскольку тот был яркий ретроград.

Там, что ни вечер, ныне – фейерверк,
а по субботам и бал-маскарад.
И что ни месяц,
во второй четверг
там – Гутенберга давишний камрад -

Эразм ведет блестящее лито
под миленьким названием «Дотла!»,
где гениям давно потерян счёт...

И в зале,
красным светом залитой,
там заглушает бульканье котла
эразмов восхищенный вскрик: «Вот чёрт!»

ГРОБНИЦА ИНКВИЗИТОРА

Это ж надо лететь было за море,
чтоб уткнуться в тебя тут, тоска!
На кромешно-полуночном мраморе
нет –
сто лет уже –
ни лепестка.

А по скверу –
шустрей ветерка –
Мари.

Колдовать для девчоночки –
как
и дышать!
А за ней телекамеры
вскачь на сильных азартных руках!

Высока и пышна ты, гробница.
Но внутри – только пепла следы
да от пепла же тусклые цапки.

Ведь огонь,
что метался в глазницах,
и в груди, под покровом седым,
был огонь несомненно же адский.

СОНЕТ

Он, зля собак, метался до рассвета.
Кренясь,
 в собора сумрачный портал
вбежал,
 пал на колени,
 ждал ответа...
Но – не дождался и захохотал.

И властно глубь звала с моста поэта...
Но вдруг,
 когда, казалось, час настал,
в кромешной форме тесного сонета
застыл страстей расплавленный металл...

Века,
 топча знамёна революций,
прошли,
 как гренадёры на параде...
Сонет не стал тусклей, один из ста...

Когда ж, в какую форму изольются
мои метанья?
 Не бессмертья ради,
а чтоб, утихнув, я сошел с моста.

СОН В ПОДАРОК

А этот сон дарю тебе, браток.
...Аплодисменты, флейты.
 По ковровой
дорожке чинно шествует пяток
всемирных корифеев.
 У второго

прижат к губам...да, носовой платок!
В недоуменье я...Что, нездоров он?
Но некто,
 взяв меня под локоток,
втолковывает лихо и сурово:

«Философ сей – Мишель Монтень,
 француз,
в чью честь и туш, и лучезарен зал,
да вот, увы, ему не до оваций.

Случился с мэтром на земле конфуз –
он туфлю папскую облобызал
и до сих пор не может отплеваться».

А сменила на клубни клубки.

.....

«Что?

Я слышу и вижу – как в тине.

Продад мельницу-то...

Неустойка...

Мыши...

Месяц жары окаянной...

«Мы о чем – на сыновней картине

мир во мраке предгрозя,

и только

солнцем мельница осиянна».

ОТТУДА

(касательно одноименной картины Н. Рериха)

Ульяновскому клубу «Ноосфера»

К нам оттуда,

из синей высокой обители

эта светлая женщина кротко идет.

К нам,

которые так или эдак обидели

лес и море, и поле, и вешний восход...

К нам,

которые недр заповедных грабители,

исторгатели лжи и других нечистот,

но зато ох и ревностные накопители

груд бабла!...

К нам, - глядите! – идет

над взъяренной рекой,

чей исток в ледниках,

по дощечке,

по хлипкой...

Который уж год

к нам надежда,

прекрасная светлая женщина,

всё идет и... никак не дойдёт, ну – никак!

Но идет и идет,

но идёт и идёт...

на картине,

что всем нам навеки завещана.

ЗВЕЗДА УТРА

вдруг штора тяжкая, из ткани грубой,
взметнулась,
наподобие бурнуса!

И было невдомёк скорбящим,
почему
улыбкой тронуло сухие губы
словцо последнее: «Вернулся...»

ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА

Каркнул ворон: «Никогда!»
Эдгар По, «Ворон»

Раньше – звёзды спорта.
Нынче – звёзды порно.

Без таланта, да и без труда
вырубаются компьютерно-топорно
на сезон, а то и на года.

А в поэзии?

В поэзии всё спорно,
вплоть до звёзд.

Вот чёрная звезда.
Подходящий бренд имеет – «Ворон»,
с гробовым рефреном – «никогда».

Чёрная, а блещет-то поярче прочих!
Ворон, а – взгляните! – где, стервец, летает –
и орлы под ним,
и облаков гряда...

И чудак,
читать привыкший глубже строчек
«никогда» в упор не видит,
а читает:
навсегда.

ЦВЕТОК

Я – редкий тропический цветок...
Генрих Гейне

На тот цветок воззришься ты, хмельной,
и можешь протрезветь мгновенно в шоке –
блеснет вдруг вместо пестика клинок
и лепестки сожгут пчелу,
жестоки.

плевался: «Срам!»,
однако лез в тот срам неустрашимо.
и,
возвращая папки кустарям,
врал: «Впереди успех и тиражи, мол...»

А те стихи,
что «не протухнут»,
те,
с сияющею явной Божьей метой,
упрятывал – до срока! – в свой сусек.

Не понимал, как видно (в простоте?),
что горнего живительного света
лишает –
пусть на время –
всех.

БЫВАЕТ ЖЕ!

Сказали,
обсудив роман «До самых звёзд»:
«Зануден, вял...»
«...Пусти в него прохвоста!»
Пустил – как мышшь,
а тот...
«Тот сходу пискнул тост:
«За дружбу!» -
и попрос на четверть роста.

И на страницах льстил, ловчил, юлил прохвост
и рос, и рос,
как брюква от компоста.
Такого стало обшивать непросто,
поскольку головой не до,
а между звезд!

Роман издали и читают нарасхват.
Прохвост пример!
В полметра буквы «Дума» -
прочь!
Там сейчас метрово «Клуб прохвостов».

И автор светится, как лампа в тыщу ватт!
И, чтоб забыть о прошлом, столь угрюмом,
взял псевдоним,
отныне он – Надзвёзднов!

О-ХО-ХО...

Нельзя, ох, нельзя доверяться мечтам,
поманит мечта и растает...
В столице есть ВУЗ знаменитый,
и там
поэты сбиваются в стаи.

Вот выслежен критик.
И вот по следам
бросается стая...
Светаёт,
и критик,
морщинистый не по летам,
покой наконец обретает.

Последний поэт, так сказать, был таков:
мелькнул вдалеке головой драгоценной,
искусно патлатой...

Спит критик.
Он выслушал тыщи стихов,
он высказал тыщи оценок,
он дышит на ладан.

КРАСИВЫЙ СОН

Красивый сон: качаюсь на лиане.
Туда- сюда...
Чего же мне еще?
Ан нет, всё жду и жду, когда же глянет
красотка шимпанзе через плечо?

Но что внизу творится,
на поляне?
Что так туда всех обезьян влечет?
Гляжу...
Нет, не народное гулянье
и не бананов плановый учет.

Там трудится профессор Айболит.
Удава лечит он посредством «утки»
и клизмы (в коей вёдер пять воды).

Удав, он в джунглях чин большой.
Главлит!
Точь-в-точь как наш –
такой же, значит, чуткий
к талантам молодым.

РУБЦОВ О РЕДАКТОРЕ

Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
«В горнице», Н. Рубцов.

«...так улыбнулся, будто карамелью
объелся».
«Точно! Будто съел кило!
Тут в лицах бы...
 Да ладно, как сумею.
Услышал: «Мол, душевно, мол, светло,
Мол, сердце радуется, но имею
Вопрос, -
 Блеснуло тут очковое стекло, -
Что подразумеваете под мелью
И что под лодкою,
 Почти гнилой?»

«Да, мель и лодку! –
 Говорю. –
 Ни тени
Подтекста».
 Он хихикнул «Молодец!
Так и держитесь, чтоб не замели».
И знай подмигивает...
 Неврастеник,
Скорей всего...
 А что один ты здесь
Кукуешь?»
 «А как раз...я – на мели».

МИМОЛЕТНОЕ ЗНАКОМСТВО

«Знакомьтесь.
 ...тот,
 о ком наверняка
ты, честолюбец, думал в час досуга,
тот,
 что сварганил пьесы навека,
тот самый –
 во плоти,
 притом упругой.
Не веришь – ущипни.
 А он щипка
не ощутит –
 ни боли, ни испуга, -
поскольку благосклонностью ЦК
надежно защищен,
 как той кольчугой!».

«Биограф шутит», - хмыкнул богоравный
сияющий брюнет.

...Вот четверть века
утолщила нелепый фолиант.

Мэтр жив,
хотя седой,
хотя недавно
я прочитал о нем «откукарекал».
Что, без кольчуги потускнел талант?

ВСЯ КАК ЕСТЬ

Ах, не хватает суток, хоть убей!
Ах, как гудят натруженные ноги!
Тут презентация,
там – юбилей.
А выставка?
А конкурса итоги?

«Что, что?
Какой племянник?
Ах, Андрей...

Минутку...
Диабет сейчас у многих...
Минутку – запишу: «Звезда морей!»
А? Каково?
Такое – по дороге!»

«Неужто ликованья дальний гул?
Бегу, бегу...»
«Кто при смерти?
Всем тяжело...
Тут – только пять процентов тиража!»

«Потом, потом...
Я опоздать могу...»
Бежит, бежит, бежит литтаракашка,
и усики пробились и дрожат.

СТЕРХ

Памяти Александра Шестопалова

Мне с каждой минутой грустней,
уже в отчаянье гляжу я вверх –
там, в знойно-гибельной голубизне
растаял, словно льдинка, белый стерх.

Вот нрав!
Скромнее надо быть, скромней –
вслед за землёй и небо он отверг!

«Вернись!» - кричу
и слышу в стороне
смешок: «Жди...
После дождика, в четверг!»

Ах, злыдни!
Вновь кричу я: «Пожалей!
Хотя бы на часок-другой приснись!»
Сияет солнце,
а зенит померк
зенит обычных серых журавлей,
зенит прикормленных ручных синиц,
зенит,
где отлетался стерх.

КОРНЕВИЩЕ

Олегу Гекторову

Мертвящий, заунывный ветер свищет,
и снежный наст – могильною плитой.
Но преспокойно дремлет корневище
и в дрёме копит –
копит Калитой -

силёнку, в смутных помыслах о высшей,
заветной цели, в сущности, простой –
весною,
прошептав вослед: «Живи же!»,
на осиянный ветренный простор

пустить росток упрямый,
оставаясь
в намокшей и пока что не прогретой
земле, как и обычно, целиком.

И сила, скопленная впрок, живая,
вся – стебельку.
Вся, вся!
Такое кредо
у корневища (с коим ты знаком).

ТАНК

«Он - танк!» - сказал о нём когда-то сам
главнокомандующий,
умник редкий.
Стих клавиш упоенный тарарам
и съёжились соловушки на ветке.

ради славной, нежной и красивой.

Загремит на зону,
там качать права
будут парню шулер и жиган спесивый.
Два письма получит,
а затем – провал...
Выйдет в мир с бумажкой вместо ксивы.

И услышит сразу правду иль навет:
«Мол, твоя меняет пятого дружка...»
В сумраке окно бесшумно распахнется.

Встанет он над спящей с финкой в рукаве...
А теперь вниманье – дивная строка:
«...то нахмурится,
то улыбнется»

РОМЕО НАШЕГО ДВОРА

Полюби меня, Снегурка,
хоть богатства нет как нет
(окромя того окурка,
что прилип на старый кед).

Но зато - шик-блеск! – тужурка
нет лишь...этих...эполет!
Полюби меня,
я – урка,
не занюханный поэт

(каковых – до горизонта!)
и не фраерок поддатый,
и не гомика,
и не трус...

Полюби!
И – чао, зона!
Для тебя я в депутаты
(хоть и тошно) изберусь!

ДУШОНКА

Как за правым плечом –
невидимкой –
чёрт.

А за левым, вестимо, – ангел.
И себе поневоле даёшь отчет,
что на том,
что на этом фланге.

Если водочка из ушей уж течёт
для жены,
 как для Крупской – Врангель,
ты тогда.
 А уютюг починил – почёт,
ты на час в капитанском ранге.

Так живёшь- поживаешь,
 за разом раз
две по сути тасуя роли.
А умрешь,
 и случится тогда конфуз.

Ангел с чёртом,
 на душу твою воззрясь,
слитно вскрикнут: «За что боролись?!
Тьфу!»

СТАНОЧНИЦАМ

Завидев мышонка,
вы прежде визжали
да так,
 что от шока
шатались скрижали

над нашей широкой дорогой
дорогой –
 не в дали –
а в сумрачность блоков
бетона и стали.

Теперь среди громадных
скрежещущих монстров,
в цеху,
 интересней
от малость помадных,
но блещущих остро
улыбок кудесниц.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА

Пот хрустально-прозрачный на лысине рыжей,
голос сипл: «За плечами всего-то полдня...
Поколенья два-три наживут себе грыжу,
наше сельско-хозяйство пытаюсь поднять!»

Я молчу.
 Я остротами нынче не брызжу

(хоть, гляжу, до колен у водилы мотня).
Уж какие остроты,
 коль сам я пристыжен
хлеборобы – ох, давняя шибко родня!

Прадед лишь,
 да и он сыну Кузе сосватал
горожанку,
 снабдив на прощанье сальцем...

Председатель взъярился вдруг, как изувер:
«Кто во всём виноват?!»

 Да они виноваты!

Мать их!..»

 И заскорузлым расплюснутым пальцем
уличающе вверх...

В КОММУНАЛКЕ

В коммуналке, похоже, сегодня скандал
и на кухне поэтому тесно.
Христофорыч (на радость народу) поддал
(где и с кем – жаль, о том неизвестно).

Он сегодня, как в юные годы, удал,
распрявился, глядите, отвесно!
Он сегодня, ей-богу, какой-то вандал,
а никак не пенёк бессловесный.

Об пол клюшкой стучит
и, икая, кричит,
разъярённой супруге-мегере:
«Зинку – ик! – не драконь!
Знаем всё испокон
блядь-свекровь –
 ик! –
 снохе –
 ик! –
 не верит!»

ВО ДВОРЕ, НА ТРУБАХ

Люди Флинта песенку поют

П. Коган «Бригантина»

Наплевать мужчинам меднорожим
на дешёвый приторный уют.
Вьётся на ветру «Весёлый Роджер»,

люди Флинта песенку поют.

Люди Флинта...

Если ж глянуть строже,
если отряхнуть словесный блуд,
то поют Сашок и два Серёжи,
подмякивает Васька-плут.

Что ж, Сашок заботит нас, признаться.
Но!

Один Сергай уж стал примером,
а второй –
 грядущий столп науки...

Только кот –

 продукт реинкарнаций –
был в далёком прошлом флибустьером,
с медною серьгой в немытом ухе.

ГОРОХУ КАК РАСТЕНИЮ

Я говорил тебе не раз, не два,
что дружелюбие – свойство не хорошее.
Но от тебя, увы, мои слова –
как от стены созревшие горошины.

Скажи, зачем,

 пустая голова,
ты обнял зубчатый сорняк непрошено?
У вас ни дел совместных,
 ни родства...

Он вырван с корнем,

 ты же, покорёженный,
увял...

И мне глядеть на это муторно,
как будто я полोल,

 как будто вправду
я б смог растение предостеречь....

Прочёл бы свеженький сонет кому-то,

 но,
боюсь, без трёх гранёных стопок кряду
никто не уяснит, о чём тут речь.

КРАСНАЯ ЧЕРЁМУХА

Старик,

 майор в отставке,
 в одежде из отрепьев,

из проволоки ржавой весь будто соткан,
на мотоцикле,
 будто на разъярённом вепре,
подкатывал, бывало, к свои трём соткам.

Казалось, что в удачу он верил и не верил:
«Урвал-таки сегодня я два отводка
черёмухи виргинской, ну – красной...
 Вот ведь звери,
вовек не поделились,
 когда б не водка!»

Прижился лишь один отводок близ пивных
бутылок,
 и весной готовился зацвести...
Да – глянули – у комля обломан тонкий ствол...

Как хорошо, до гадства не дожил отставник.
Что ж, нет заокеанской красавицы.
 Но есть
сонет,
 что, к сожалению, коряв и квёл.

ПРИЗЫВ (90-е)

Кто там, над топодем?
 Никак Меркурий?
Гляжу на летуна с открытым ртом.
Полётность некая во всей фигуре,
и на лодыжках крылышки притом.

Эгей, довольно кайфовать в лазури!
Коль впрямь ты бог торговли,
 не фантом,
спустись скорей!
 Тут дел тебе до дури,
в стране,
 что вся на вираже крутом

от ...изма к ...изму.
 Целиком назвать
понятыя не хочу.
 Ведь приукрашу
действительность раздолбанную нашу:
для честных шанс один лишь –
 торговать,
а прочие...
 Ты видишь сам – воруют,
притом, кто злей, палит напропалую.

Потому что волжанин я что ли,
запою про речное раздолье,
про Степана с княжной на корме.

Ты княжна,
хоть тростинки прямей,
не избегла изломанной доли...
Но зато до сих пор при застолье
исполняется вечный ремейк.

Мы поём широко и угрюмо,
ибо,
будто завзятые тати,
помним все как один о тюрьме,
что в строю зло мерцающих рюмок
нам мерещится, дай Бог, нехстати...
Буриме ты мое, буриме.

СЭР ДЭВИД

Наследство от сестрёнки, англomanки:
тома Агаты Кристи,
полувер,
двух-трёхлитровые пустые банки
и кот голубоглазый Дэвид, сэр.

Аристократ врождённый от осанки
до утончённо-чопорных манер,
резинки от причёски «Хвост Каштанки»
прихватизировал вмиг кавалер

и поместил в своём углу,
за креслом.

Но иногда гоняет их по кругу,
подбрасывает,
ловко ловит...

Мы ж
спектакль тот наблюдаем с интересом –
Я сам,
простоволосая супруга
и гладкая упитанная мышь.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ (М.И. ЛИМАСОВ)

Решил однажды я дождливым вечерком:
сто лет – вершина

и - как манит, право!
Добраться бы!
А что?

Покуда не знаком
я ни с милицией и ни с минздравом.

И вот добрался – не кряхтя и не ползком.
стою я наверху.

Ничуть не браво,
поскольку за родным своим стою станком,
и стружка вьется прядкою кудрявой.

Вчера мне на ступню свалился вдруг наждак.
Так в дальний травмопункт я сам дошел
(«Не ной, -
себе долдонил, - заживет-де до получки»)...

«Михал Иваныч!
Как там, на вершине?
Как?!»

«А солнечно, Виталь Андреич, сол-неч-но.
Они уже пониже, тучки»

«ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА!»

Пурга, пурга, пурга...
Отцы с утра,
чуть свет, бросали семьи и квартиры
и под насмешливый вороний грай –
во двор.

И там,
вне ранга и ранжира,
лопатами сугробы – на-гора!
Воистину им было не до жиру!
Даёшь скорее магистраль,
ту, транс-
сибирскую,
сто от крыльца к сортиру!

Мы ж просыпались позже.
И с крыльца мы
вдруг попадали в белую траншею.
И лезли мы,
лихая детвора,
с сосновыми своими ружьяцами
на бруствер,
голося (хоть снег по шею!)
«За Родину, за Сталина!
Ура-а-а!»

ФРОНТОВИК

«Я не вылез из окопа наперёд
и недоноска, что скулил щеняче.
Что мне до фрицев, думал?
У ворот
моих никто из них не насвинячил».

«Они ж напали...
Не наоборот...
на нас!
Дядь Коль, ты ж русский!
Это значит...»

«Нет, я не русский.
Я – чалдон.
Мой род
от Ермака,
казачий.
Слышь, казачий!»

«Ты что ж, не убивал...»
«Да, убивал.
Война...
Я и сейчас убью,
лопатой –
что крысу,
что паршивца, вроде Пашки...»

«Ну а меня убьёшь?»
«Тебя?
Сперва
ты подрасти, дурило конопатый.
Детей, вас убивать – нельзя.
Грех тяжкий»

СТИХИ СОСЕДКЕ КЛАВЕ

1.

Я вспомнил и, признаться, не впервой
о Клаве,
давней молодой соседке,
весёлой,
напомаженной с лихвой,
как понимаю я теперь – кокетке.

Её порою угощал халвой
сутулый Вячеслав,
молчальник редкий.
Отвоевал он на передовой
и говорили, будто бы в разведке.

Вокруг предсказывали свадьбы срок

и с чем на свадьбу испекут пирог,
и кто приедет из его родни...

А я, юнец,
 пристроюсь на бревне,
писал чужой (пусть будущей) жене
стихи,
 вот (с малой правкою) они:

2.
«Ты так искриста!
 Ни с чего зажглась
и вот уже смеёшься беспричинно...
А он угрюм,
 на лбу,
 у рта и глаз
неизгладимо пролегли морщины.

Ты так легка!
 Лишь миг и унеслась,
ну, будто пух июньский тополиный...
А он тяжёл.
 Как будто и сейчас
с ним автомат, лимонки, комья глины...

Сумей свою натуру превозмочь
и стать женой,
 доверчивой, как дочь,
прощающей, заботливой, как мать...»

Я не послал стихи.
 В кустах глухих
её нашли истерзанной.
 Он их
убил и...
 не смогли его поймать.

В ТУБСНАТОРИИ

Массовичка ох как глазками блестела:
«Мужики!
 Вы что ж, немее пескарей?!»
Слышу: «Саня! Выдай! Нашу!»
 Встал, как стела,
тот и выдал песню,
 выхаркнул скорей.

Как при попаданье в бензобак взлетал он,
наподобье давних милых сизарей,
и – как на вопрос особого отдела:

Какой уж героизм...
 Хотя...
 Была ж морская
пехота!
 Та, что героизмом распроклятым
была смертельно –
 сплошь –
 заражена
и пёрла средь разрывов,
 не моргая...
По полной наливай.
 За «чёрные бушлаты» -
до дна».

ОБИЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ

«...спросил я вежливо.
 Предгрозовое
затишье и – гроза,
 точнее, шквал,
внезапный, сокрушительнейший,
 с воём
и матом, матом, бьющим наповал!»

«Про что спросил?»
 «Про братство фронтовое.
Ведь часто, мол, своих он прикрывал
огнем...
 Когда б не любопытных двое,
сгрыз ветеран меня б,
 что твой Ваал!»

«Всё ясно».
 «Что?!»
 «Не ведая о том,
ты соль на рану сыпанул глумливо,
и стало старику невыносимо.

В заградотряде он в сорок втором
на выжженных дотла придонских нивах
косил своих, бегущих, из «Максима».

КОМСОМОЛЬСКИЙ СОН

...заметил, что кавалеристы
в экипировке – ни аза
и лица грубые землисты.
Но звёздно светятся глаза!

впустую гадая:

что внизу?

Там пронзало пылицу клубимую:

«Разметём краснопузых,

что силы ударя!»

«За Россию,

единую и неделимую!»

«За отцовскую веру!»,

«И за Государя!»

И коней взгорячив,

без того ошалелых,

преисполнена злобою ярою правой

и всё пуще ярясь, что ни миг,

пашки вскинула лава несметная белых

и – на красных несметную ярую лаву

напрямик!

3.

И схлестнулись две лавы –

со скрежетом,

стоном.

И рубили,

как рубят дрова,

Николай – Алексея,

Владимир – Антона,

Петр – Сергея,

Ивана – Иван.

И без всадников кони неслись окрылённо

в дали,

где не багрова трава.

И орлы улетали на край небосклона

где спокойно тиха синева...

А теперь на широкой российской равнине

где когда-то,

роднёю своей не отпеты,

полегли в боевой молодецкой красе

злые конники –

в утренней летней теплыни

мирно с бабочками хороводится ветер

над цветами в росе.

ПОЕЗД ПРЕДРЕВВОЕНСОВЕТА

Под бледным месяцем,

по чёрно-красной,

пылающей, грохочущей стране

на стыках рельсов этот поезд трясся
неистово,
как бы осатанев.

На станциях презрительно и страстно
взывал кудлатый смуглый вождь в пенсне
к немым войскам: «Мол, вскорости ждёт рай нас,
коль всех врагов размажем по стене!

И ныне, мол, ждёт каждого подарок:
табак и спички...
в случае победы...»

В выси ж,
за дымом паровозных труб
у догорающих вблизи хибарок
едва просматривался месяц бледный
и трансформировался в ледоруб.

ПОСЛЕ СКАЧЕК

«Твоя тачанка – ей-же-ей, краса!
А коренник-то!
Ух, как быстр и грозен!»
«Я перед скачками ему сказал:
не будешь первым – быть тебе в обозе!

И там скрипящую в три колеса
телегу нашей поварихи Фроси
возить тебе по палям и лесам
нечищеному,
с мордой в тухлом просе».

«Постой, постой...
Сказал кому?
Коню?!»

«Вот то-то и оно – коню.
Не Кольке,
кому призывы реввоенсовета
я разьясняю десять раз на дню.
А конь...
Что конь?
Заговорил я только,
а он уж понял и кивнул при этом».

КСТАТИ

*Зачем нам, поручик, чужая земля?
Песня*

«Как, как он спел? Поручик...Как? Голицин?»

«Пап, ты о чём?»

«Да на Гражданской, той
поручик долговязый, бледнолицый
в наш дом определён был на постой.

Он заикался,

я же несчастливца

дразнил,

забившись хитренько под стол.

Мать, бедная, тогда устала злиться –
ведь не страшил меня ремень простой.

И за день до ухода нареканья
мы не слышали.

Непредсказуем

был тот поручик.

Глядя хмуро вбок,

сказал он матери без заиканья:

«Спрячь мужа.

А не то мобилизуем,

Андрейке сиротой стать... Не дай Бог».

ВИДЕНИЕ

Двадцатый, осень.

Крым.

Последки

полков. На пирсах чехарда

«Однако ж время для рулетки,
рулетки русской, господ!»

Пусты бутылки,

и объедки –

в окурках –

дымны, как суда.

«Я, помнится, на редкость меткий», -

сказал,

уставясь в никуда.

Накаркал.

Пурпурную струйку

охотно пыльный пол впитал.

Вот и конец игре мужской.

Откинув с револьвером руку

валяется штабс-капитан

с лицом Валерия Крушко.

ПРАБАБКА

Венки, оркестр.
И сам Железный Феликс
нёс –
спереди и слева –
красный гроб.

МОРОК НА ПАРИЖСКОМ КЛАДБИЩЕ

...на уровне за №3934: «Нестор Махно»
Из справочника

Из колумбария...
Как? –
Чёрт лишь понимает!
Но точно, что незримо для старух...
Седьмая...
Тридцать третья...
Шестьдесят восьмая...
выносятся тачанки во весь дух!

Вот,
меж землей и хмурым небом замыкая
над Пер-Лашез вихрастый дикий круг,
коней осаживают резко.
И от грая
их пулемётов явен туч испуг!

И люд тачанок не с бульвара иль кушетки,
в глазах не благодушие после ренты,
а блеск затравленности роковой

И жмут, и жмут остервенело на гашетки,
отстреливаясь до последней ленты!
Отстреливаясь...
Хлопцы, от кого?

В ПАРИЖСКОМ КАФЕ

Полковник без полка не говорлив.
Он замкнут, желчен.
Он уйти не против...
Но журналист, тот чувствует прилив
нахрапистости, свойственной природе.

Он жаждет знать, кому в смурной дали
поддался их высокоблагородье?
Якиру? Фрунзе?
Знать, благоволил
им сам Господь?
Иль некто, чёрта вроде?

Полковник морщится: пристал, мол, шут!
Но – осушает в темпе марша стопки.
И вот...

Беседуют уж по душам.

«...ведь вши, они и красных пошатнуть
пытались.

Те же оказались стойки.

А мы – поддались вшам».

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Сижу на камне в ожиданье паса.

Пас, встал.

Бегу - ботинки со свинцом.

Серго в защите шибко окопался –
лёг поперёк с решительным лицом.

Полдня назад я бы над ним промчался!
Теперь – стороной... «Стой!» - кричит кацо.
Лежи уж...

Счет к концу восьмого года
был в пользу их...

Прищучу гордецов!

Вратарь стоит, его-то держат ноги!

Но сдвинуться к мячу – ни-ни.

Робеет.

Гол!

Сто...какой-то. Вспыхивает спор.

Раз так – домой! Иду, и по дороге
одну из ног посредством рук, обеих,
я двигаю.

Так мы любили спорт.

ЛЫЖНИК

Ход коньковый, ход толковый,
если в гору,

как паук,

палки послужить готовы
вместо ног подсобных двух.

Ход коньковый, ход рисковый,
если с горки во весь дух,
быстро скомпонуйся в новый
электрический утюг!

...Мчал на лыжах,

как на крыльях!
Сосны, тренеры, толпа
были в раже: мол, герой!
Финиш!

Но не от бессилья
ты в холодный снег упал –
оттого, что лишь второй.

НА ТУРБАЗЕ

А медведь – на цепи, за клубом.
А стихи – со сцены и с губ
женских «Автора!...»

Тот,
сугубо
скромный,
юрк от окна – за клуб.

Там его – за плечи, негрубо.
Он же – «Прочь!» - ворохнулся, груб.
И – то место... что в роли крупа...
Вдруг попробовали на зуб!

Взмыл, крутнулся, будто Егудин!
Ба! Медведь!

Так тебя растак!
Тот попятился и поник:
«Я-то мол от души...
Эх, люди!»

Автор – к зверю,
ища контакт:
«Виноват я...ну, извини...»

В КОПИЛКУ

Я увезу в своей копилочке
не заварушку у киоска
(где бич биологу разбил очки),
не анекдотец сально-плоский,

не нашенских болельщиц пыл (клочки
волос и тенниски полоски
на месте,

где за полбутылочки
арбитр победу отдал флотским),

не твой затылок,
модно стриженный,
где – лишь зацокала на пирс –
предательски рыжела хвоя...

НАША ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

...почему на открытой воде?

Потому,
что я самого детства дурёха такая.
Вот представьте, никак, ну никак не пойму,
что хорошего в том,
что стихия морская
человеками заключена, как в тюрьму
что бетонные стены ровны,
пресекая
волн смешливо-ребяческую кутерьму...
Да за что, объясните-ка, ей эта кара?

И ещё: вдоль межи,
чистым кролем,
равномерно маячить щекой –
нет, мне этого мало!

Если б так плыть пришлось –
под контролем,
без привычных тычков и щипков –
я б, поди, задремала!

ГДЕ (ДАВНИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ)

Питомцы славных ВУЗов,
сплошь Портосы,
и я – юнец, что на остроты скор.
Однако же учеба под вопросом...
Все вместе мы – команда «Метеор».

Как мы играли!
Пол пахали носом.
Как пели после игр!
До солнца ор.
Репертуар: «Цыплёнок», «Эскимосы»
и «Прокурор» (который главный вор)...

Где юмор наш?
Спортивная где злость?
Возможно, у меня остались крохи,
да кто из нынешних тем жалким крохам рад?

Пришипилось, поблёлкло, унеслось...
«По тундре,
по железной дороге,
где мчитя курьеский «Воркута – Ленинград».

НА ПОМИНКАХ

...Когда ж в кафе поминки были иль в столовой,
вход был свободным (до недавних дней).
Будь даже ты бомжара с рожею лиловой,
тебе и водка, и закуска к ней.

И вот частенько –
нет, не то, пожалуй, слово –
ВСЕГДА средь не приравненных к родне
был статный крепкий гражданин,
однако ж в плёвой
одежде и опрятный не вполне.

Держался за столом пристойно вроде,
лишь рот порой кривился под усами
да взгляд его,
порой опасно мглист,
казалось, избегает лиц напротив...
А был то в недалёком прошлом самый
талантливый симбирский хоккеист.

МАЛЬЧИШНИК

Владимиру Космынину

На поляне мальчишник.
Итеэры по-свойски
разом сдвинули чашки, стаканы, ковши.
Мяч футбольный затем извлекли из авоськи,
чтобы в кои-то веки гульнуть от души.
Верст за десять вокруг ни одной вертихвостки.
Близ поляны тревожатся лишь мураши,
слыша – «Пас!» - многократные крики
и хлёткий
звук ударов,
столь странный в сосновой глуши.

Это мячик футбольный (когда-то кирзовый,
а теперь заимевший цветную покрышку)
так звучит –
сквозь азартный отрывистый гам.

По его на особицу властному зову
возвратилось,
прогнав и артрит, и одышку,
неуёмное детство к седым толстякам.

ЗАПОМНИТСЯ ЖЕ!

Забытая фраза: «Пассато ди сотто»
(когда-то от тренера слышал её,
так он называл с горделивою нотой
эффектный весьма фехтовальный приём).

Ещё мне запомнилась фраза,
её-то
уже не отбросишь легко, как старьё:
«На уровне глаз подлеца и сексота
должно быть рапиры твоей остриё!»

Рапира...
А суть-то не в зависти ль низкой?
Вчера в «Гулливер» заходил я за чаем
(увы, до «покрепче» мой нос не дорос)
и видел,
как там расплатился за виски
земляк –
как подлец он необычаен,
да, да, как подлец –
Гулливер он, колосс!

ДРУЗЬЯМ ДЕТСТВА

Наш кирзовый мячик вышел на орбиту,
по-над облаками кружится, как спутник.
И свистка не надо нашему арбитру
потому что Бог сам судит шалопутных,

так и не привыкших к серенькому быту,
так и не признавших трудовые будни,
так и не забывших жалкую попытку
вырваться из пут,
липуче-лилипутных.

По словам архангела, расклад таков:
всю, как есть, мол, эру Водолея,
ад нам не грозит
и рай нам не маячит.

Будут наши души выше облаков
знай гонять,
как прежде, не взрослея,
свой любимый, свой кирзовый мячик.

КОГДА ЕДЕТ КРЫША

Довольно читал я,
мурыжа

приглядистых добрых соседей.
Поехала, чувствую, крыша,
и едет, и едет, и едет!

К певунье,
 девчончке рыжей,
вдруг вламываюсь я медведем,
целую строптивую трижды...
Ах, как она рада победе!

Её не узнать, озорную!
Как топает ножкою – прочь-де! –
на тётку свою,
 что с прямым
святым интересом в дверную
щель
 сунула клювик сорочий...
Ужо прищемим!

ПРИЧИНА

Влюблённость, всех призов ценней,
при этом без ручьёв седьмого пота.
По переулку ты шагаешь с ней,
и будто совершаешь круг почета!

Шагаешь?
 Нет же!
 Ты, сказать верней,
в первоначальной стадии полёта!
И, пролетая, видишь: на стене
общаги рассиялась позолота!

«Эх, как влюблён вихрастый дурачина! –
остановился, смотрит вслед прохожий, -
Ещё б! Девчонка хороша!

 Одна
её походка может стать причиной
влюблённости...
 Нет, всё же, всё же
причина в том,
 что светится она!»

ЕЩЁ О СОЛНЦЕ

Солнце разбилось о речку
что под крылом простёрта,
о «Ту»,
 восходящий навстречу,

о стёкла аэропорта,
о трап,
 с грязцой поперечин,
о поручни,
 что натёрты,
и о медали на френче
отставника с курорта.

Солнце разбилось в осколки
о чёрный кузов пикапа,
о клумбы бордюра витой,

о псин беспризорных холки
и о листву в накрапах
над...
 просевшей плитой.

ЖАННА

Каникулы.
 Девки наши
кто в Тьмутаракань, кто – в Тверь.
Я ж в помыслах: как стать краше
втянулась я в круговерть.

А ты?
 Известно – барашек
(ты только на корте зверь)
ты с книгою.
 Гейне?
 Гашек?..
Как вдруг: нараспашку дверь!

Том охнул,
 под стул срываясь.
Уставился ты, насуплен,
не веря глазам никак.

Поверь!
 Это я, живая,
сердчишко сменив на бубен
с платишком своих в руках!

У МОРЯ

...А прибой одноногих столов вдруг достиг,
вслед – потешно так принялся краб грести...
Ноготком по стеклу отчеркнула: «До сих!»
и стакан осушила – для храбрости.

Оглянулась на рокот валов кочевых
и,
вобрав вожделённо в глаза простор,
на виду у хлыщей и вертлявых чувих
подступила она к нему запросто.

Как цыганка –
и-эх, оторви да брось! –
в старой песне той: «Ты мне нравишься,
поцелуй меня – не отравишься!»

Он стоял перед ней,
как полярный торос,
и блеснул улыбкою льдиновой:
«Все гусары спят.
До единого».

ВЛЮБЛЁННЫЙ ПРОВИНЦИАЛ

Эх, и девушку увидел – зашибись!
Через ров и заодно чапыжник
враз перемахнула!
Сдуру крикнул «Бис!»
А она: «Недоставало рыжих!»

На вокзале подошла ко мне, как рысь:
«Если вычислишь меня... в Париже,
то пожалуйста... того... приборались
и фиалок прикупи.
Смотри же!»

Доктор говорит, что я, как бык, здоров.
Я ж не соглашаюсь с ним: «Лечите!
Как это здоров?!
Я повторяю вам:
только рассветёт,
сигаю через ров,
а потом зубрю самоучитель,
тот, где распроклятое «шерше ля фам!»

ОНИ

Н.Р. и Л.В.

Как будто бы они на белом свете
одни,
и в них лишь прелесть бытия!
Я пошутил: «Меня ждут в Моссовете
с докладом о разливе литвранья».

Пошёл и оглянулся.

Дети, дети
среди каменных углов и воронья...
О, как она его любила, Бог свидетель!
О, как её любил он, знаю я.

Он так её любил, что уберёт
от неприкаянности собственной,
от боли
своей заразной,
от путанных своих путей-дорог,
от призрачных своих приютов
и от доли,
столь несуразной.

БРЕД

Надень янтарный свой браслет,
в который вкраплена стрекозка.
И уходи.

Но... что за бред,
что за нелепая загвоздка?

Ты – раздвоилась!
Сбросив плед,
ты-первая шагаешь жёстко
к двери.

А ты-вторая вслед
глядишь, податливее воска.

Ещё скажу я напоследок:
тебе-второй не стать каргою,
на час, и то не постареть.

В рондо,
в сонетах,
триолетах
пребудешь вечно дорогою,
как та стрекозка в янтаре.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Ты исчезла.
Тебя будто не было, право,
для парнишки,
что удит упорно с моста,
для сапсана,
парящего над переправой,
и для псины,
следящей за мной неспроста.

Поцелуй ещё разик.

ПОДРУГА ЛЮБОВНИЦЫ

Пришла одна.

Пришла вернуть пластинку.
«Давно не видела я что-то Вали»; -
сказала и разгладила морщинки
на неутюженном век покрывале

кровати.

И вздохнула,
И пушинки
сняла с кассеты старой геноцвале
Булата.

И на клавиши машинки
«Ятрань» украдкой глянула,
Едва ли
не с ласкою опасливой...

И бледность
прелестного лица,
и блёсткий крестик,
и прядка русая на чистом лбу,
и шерстяной не по сезону плед на
покатых плечиках –
всё это вместе
составило железное табу.

СОСЕД

«В дальнем море, - шепчет он в ажиотаже, -
девы водятся,
при талиях, глазастые
и...немые, словно рыбоньки,
и даже
вовсе нету рук у них,
а только ласты есть.

Мне б такую!

Я б при каждой распродаже
закупал бы побрякушечки и сласти ей!
...О жену-то я споткнулся в Заовражье,
там, ты знаешь, все рукастые, горластые.

Прихожу домой из своего литейного –
ор: «Я,
рук не покладая,
спозаранку
тут надсаживаюсь,

а тебе, урод,
нету дела до уюта, до семейного!
Сядешь,
вилкою потычешь в запеканку
и попрёшься в свой паршивый огород!»

ГЛАША

Голубые глаза.
Лет семнадцать.
Звать Глашей.
Имя дадено было, увы, невпопад –
не подходит ни к вороту в стиле апашей,
ни к брючатам,
ни к хаосу крашенных патл.

«Почему бы не быть мне любовницей вашей?
Я красива, я пью, я курю, я глупа.
Я давно распрощалась с мамашей-папашей.
Я забыла, какая она, скорлупа.

Потанцуем?
Ладонку кладёт осторожно
на плечо.
И смотрите-ка, определённо
ткань поглаживает (небольшой, но грешок!).
«Можно, я поцелую вас?»

Пауза.

«Можно?»

И – целует,
Как мишку, что из поролон.
И обидно немного, и хорошо.

КОКЕТКА

Единственной хочу быть в стиле ретро.
Чтоб чуточку походка – как полёт!
Чтоб ощущалось всеми,
я запретна,
но и сладка,
как тот библейский плод!

И кто меня окликнул?
Ах, зампред наш!
Что ж, подожду, хоть он не Ланцелот.
Поговорим... Но – ничего конкретно -
пусть погадает сутки напролёт.

«Всего хорошего!»
Не обломилось?

То-го.

Моё неукоснительное кредо:
быть сладкой, но запретной.

К черту грусть!

Походка – вот сейчас моя забота,
кто окликает?

Референт зампреда.

Ну, этот шустрик догоняет пусть.

ПЛАСТИНКА ГЕРШВИНА

Она и он – отчаянные с детства,
в их генах будто некий скифский риск.
Таким быстрее бы донага раздеться,
чтоб не затлела ткань от быстрых искр.

А после – в Загс (куда иначе деться,
коль дитяtko возьми и зародись?!)
И жили б – парюю – без самоедства,
когда б не этот тонкий чёрный диск –

пластинка Гершвина.

Едва из-под иглы,

малюсенькой,

вдруг разливалось море

звучанья дивного,

их души пробуждались

и оставляли тусклые углы,

и уплывали в выпрленном миноре...

ох, в разные (хоть красочные) дали.

ЛИК И ЛИЧИНА

Т.Б.

Мне чудится, что мы с тобой на сеновале
во времена поступков удалых!

И в так прекрасно вспухшем губ овале
мне чудится рубин и сердолик.

«А интересно, как тебя, ребенка, звали?
Родители?

Кружок бабусь незлых?

Как, Талик?

Говоришь, для краткости?

Едва ли...

Я буду звать тебя короче: Лик!»

И – рассиялась солнышком в апреле...

Подумать только, до чего я дожил:

поглядев трамваю вслед,
на рельсы лёг при всём честном народе.

Могу вас познакомить.

Но имей

ввиду, что он...

Ну... как сказать бы...

Хрупкий.

А хочешь, я поведаю сейчас,
что у тебя, зловредный, на уме:
вот отчебучил, мол...

Ха! Из-за юбки...

Ну?

В точку я попала?

Отвечай!»

САМОУВЕРЕННОСТЬ

...Когда ж до дамбы оставалось метров триста,
навстречу (с каждым разом всё родней)
легко плыла она,

улыбчиво-искриста:

«Привет!

Как там княжна?

Ещё на дне?!»

Теперь приятель побывал-таки туристом
в далёкой притягательной стране.
И вдруг в супруге тамошнего Монте-Кристо
признал её,

ушкуйничьих кровей.

«Представь, среди всяческого там богатства,
послав подальше чопорного мужа,
проговорили с ней, считай, полдня.
а про кого – вовек не догадаться...»

Тут ты прервал туриста: «Почему же?
уверен, про меня».

НОЧЬ НА ПОЛУСТАНКЕ

Ну что, скажите, фонарям высвечивать
в крапиве пыльной, что вдоль стен шершавых?
Да, я здесь был.

Но вспомнить вроде нечего
об этом тихом уголке державы.

Вот справа, как и прежде, чахлый сквер и вот
та лавочка на гнутых ножках ржавых...
Глаза светились нежно и доверчиво.

А был садовый домик
и терраска
щелястая с подобием перил,
с непрошенными ветками в цвету...

Там «Солнцедар» (бишь, спирт с водой и краской)
поэты пили.

И тогда парил
тот домик выше туч и всяких «ТУ»!

КАБЫ ТАК!

Ах, бесы алчности, гордыни, блуда,
слюнявые, пропахшие козлом!
Решил я с вами разобраться круто,
безжалостен моих бровей излом.

Даю обед не пить, не есть, покуда
я не покончу с вами, мерзким злом.
Задействовав всю силушку, всю удаль,
поганые хвосты свяжу узлом!

И этот узел сжав в ладони правой,
крутнусь разок-другой –
метатель сущий! –

И пальцы разожму мгновенно,
чтоб
визжащею, сцепившейся оравой
вы пронеслись стремительно над сушей
и плюхнулись в коричневую топь.

УЖО ЭТИ РЕИНКАРНАЦИИ!

Питон, забавы для, душил порою тура,
став вороном,
выклёвывал вождям глаза
и думы думал, сидя на суку,
а за
пернатой вольной жизнью,
назван был Артуром.

Не изменилась в общем-то его натура.
Он видел в главном том углу (где образа)
лишь волю движущую...

К Богу тормоза,
к надмирному!
В миру – лишь воли диктатура!

Теперь для нас он – автор книг и документ.
Недавно слышу: «Шопенгауэр – фигура

Величественная.

Как говорится, глыба!»

Так важно произнес приятель мой в момент,
когда, в забытом прошлом бывшая Артуром,
акула подкреплялась мелкой рыбой.

ЗВУЧИТ!

Проскочить мимо клюва орла...
Карлос Кастанеда

...чтоб орлу за тобой не угнаться,
ты решишь на отчаянный шаг:
Кокни «кокон» свой из эманаций
этой птицы вселенской и – ша! –

будет клюв чёрт те кем наполняться,
злобно чёрт те кого потроша...
Ты – вне клюва,
вне реинкарнаций,
ты отныне сугубо – душа!

Чтоб врубиться в подобные дебри,
надо с утречка неутомимо
пить водяру,
притом из горла!

Но – звучит!
Тут ты прав, изотерик.
Проскочить...
не в Госдуму,
а мимо...
мимо клюва орла.

НА МЫСЕ

Здесь,
на мысе скалистом
ты паришь...над собой.
Как под пальцами Листа
нарастает прибой!

Бурно, буйно и лъвисто
разъярённой гурьбой,
с рёвом, воем и свистом
мчат валы...
На убой.

Ибо скалы сверхстойки.

Их судьба,
их призванье:
расшибать ярость брызг...

Здесь,
на мысе...
И только.

А в стенах, на диване?
Поддавался и дрых.

ЦИКЛ

В фигуру выросший из скромной пешки,
к директору на совещанье вызван,
ты ощутишь среди почтенных лысин
значение своей начальной плешки.

Затем, в числе директоров успешных
ты, на лету ловя министра мысли,
взгордишься, что ширяешь также в выси,
что не какой-то серенький приспешник.

И вот – министром – справа от премьера
воссядешь,
попадая в объектив
и на карандаши различных СМИ...

В чистилище же съёжишься безмерно
и ангел,
на тебя взор обратив,
вдруг озаботится: «Где лупа, чёрт возьми?!»

ТАК-ТО

Жил у нас профессор (как войдёшь – налево),
лысина обширна, словно стол,
а рык
львиный!
И однажды вывел муж сей древо,
на котором вместо листьев –
дол-ла-ры!

Ох, и началось тут!
Даже девы – девы!
Устремились к древу!
Сильный пол аж крыл
их в столпотворенье матом обалделым!
А в итоге – затоптал всех полк барыг.

Да, нельзя нам забывать урок такой,

Отнюдь!

А мне вот хочется, чтобы сноровки
на дешифровку не хватило,
Чтобы
таинственность осталась.
Хоть чуть-чуть.

О СЛОВЕ

Ну хорошо, отметём отговорки
(хоть и хотелось в молчанье поужинать).
Слово – ракушка,
и нету отвертки,
чтобы легко раскрутить полукружия.

В песне лишь, в той, что на наши задворки
сверху слетает
(в той – будто бы суженой!)
сами раскручиваются вдруг створки,
и драгоценно сияет жемчужина.

Да, только в песне
(да, да – не во всякой,
не в дребедени пискляво-попсовой)
в той, повторю, что с высот,
вдруг, рассиявшись жемчужно-неярко,
вся изначальность, божественность СЛОВА
нам предстаёт.

О КАНОНЕ

И у канона был канун,
притом ничуть не каноничен.
Переливаясь как бурун,
то, что окаменело нынче.

Был ветерок свежайше юн
и небосвод был безграничен
над тем, что ныне – как валун,
замшелый под стеной больничной.

Канон - бесспорно – под уклон
и времена, и мы – иные.
Зачем нам знать,
сшибая бабки,
что прежде был хорош канон,
его ж творец велик поныне...
в архивной папке.

ОБ ИСТИНЕ

Есть истина: легко поместится в горсти,
как бирка иль монетки три-четыре.
К примеру: человек всего-то лишь гостит
в приватизированной им квартире.

Есть истина: ее –
ОМОНам всем на стыд! –
не затолкать никак в простор Сибири.
К примеру: человек рождён, чтоб прорасти
в страну, в эпоху и гораздо шире...

А усмехнулись вы сейчас некстати.
Что, думаете, сыпь завышенных амбиций?
Да нет, здоров, хоть и коряв, мой стих.
Вы лучше-ка повторно прочитайте!
Ну? Где же тут: рождён, чтобы пробиться?
Тут, сударь мой, рождён,
чтоб прорасти.

ДАЛЁКИЕ ПРЕДКИ

Жили, не тужили, счастливы, как дети,
зубы даже в старости – белые и в целости,
оттого, что ели (Геродот свидетель)
шишечки сосновые,
самой первой свежести.

У гостей заморских замечая плети,
Удивлялись ихней неразумной смелости.
После, на пиру,
набрасывая сети,
призывали глупых к рыбьей онемелости.

А когда тащили
приходилось крякать.
(на пути случались всякие заторы:
тут, глядишь, коряга,
ямка там...)

Но не видел водяной такого рака
в тихой заводи своей, который
не был бы душевно рад гостям.

НА ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ ДОРОГЕ

С корявым батогом

бредёт бедняк убогий.
И – никого кругом,
лишь мошек карусель.
«А вдруг тебя беда
настигнет на дороге?
Как быть тебе тогда
без близких и друзей?»

«Мне каждый стих мой – друг.
Душа лишь занеможет,
друзей в единый круг
скликаю в тот же час.
Меня любой из них
в беде утешить может,
незримо для иных,
как самоцвет,
лучась!»

ЗАВИСТЬ

Я теперь завидую, и сильно
удивляю этим близких всех.
Дёрнул чёрт взглянуть библиофильно
в дальний поэтический сусек!

Книжицу монаха Цзяо-жаня
там нашёл, стряхнув пылищи слой,
наугад раскрыл, и содержанье,
в полном смысле слова, потрясло.

Автор, мол, под смутный шорох хвойный,
позабыв и храм, и прихожан,
улыбался тучкам, лёгким, вольным...
Вольным, как и сам он, Цзяо-жань.

Я и обзавидовался,
Даже
думалось, что помереть пора б...
Но – живу.
Простой советский раб.
И уже с большим рабочим стажем.

МОТЫЛЁК

И куда они держат совместно путь,
два несхожих нисколечко старика?
Первый – крепок, в косе седины чуть-чуть,
и строфа его, как гранит, крепка.

А второй-то – тщедушен, сутол и сив,
с кривоватою и почерневшей клюкой...

Мотылёк –

ах, чёрт, до чего красив
и не робок нисколько! –

вспорхнул легко
с худосочного плечика на плечо,
что похоже на выступ скалы, ей-ей!
Ишь ты, кроха такая, но что почём
разумеет не хуже больших людей!

А тщедушный старик от обид далёк,
выпевает ответно свою строфу...

Посидел на плече Ли Бо мотылёк
и спорхнул опять на плечо Ду Фу.

КОНЧИНА ЛИ БО

(о китайце, на японский манер, по-русски)

Только два глотка
и – ночью лагуной...
Вот луна...

Близка!
Да, Ли Бо утонул, но
в серебристости лунной.

РАЗГОВОР ОБ ИМЕНИ

(Бо Цзюй И)

- Как в переводе на наш: «Цзюй И»?

- Если дословно: «прожить легко».

- Да? Меж сапфиров, цветов, сюит,
женских улыбок и облаков?
«Бо»... Перевод ни к чему тут. «Бо» -
это, конечно же боль и скорбь
тех, кто с детства обижен судьбой,
тех, у кого проказа иль горб...

- Надо ж, куда тебя занесло!

- Разве? Ведь речь об имени чьём?
Имени гения...

Каждый слог
может предстать роковым ключом...

«Бо» - в начале, как тут ни юли.

«Бо» - заглавно,
«Цзюй И» же в хвосте.

«Бо» отбрасывает на «Цзюй И»
скорбную тень...

ДРЕВНИЙ НИШАПУР

А Нишапуру выпал фарт –
ребёнком там вскричал: «Я – сам!»
Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх
Омар ибн Ибрахим Хайям.

РУБАИ

1

Хайям в ударе. Торопясь упиться,
он на упрёки Богу не скупится.
А всемогущий Бог никак не может
налюбоваться нынче на любимца.

2

Да пей ты и строчи, как из «Максима»,
пылая за столом неугасимо –
будь у тебя хотя б один процент
хайямовщины невообразимой!

3

Сказать? Скажу, для бездарей сугубо,
для их толпы, завистливой и грубой:
Хайям застолье славить продолжал,
мусоля корку чёрствую беззубо.

СЛУЧАЙ

«Будь щедрой пальмой» - сказал Саади.
Легко говорить, коль пудовы кокосы!
А тут,
хоть прошли проливные дожди,
в скорлупах сухих – лишь зловредные осы.

«Не можешь быть пальмой, - сказал Саади, -
так будь кипарисом – прямым, благородным...»
Стараюсь, стараюсь...

Вдруг слышу: «Гляди,
спрямился!

Топор!

Да живет, уроды!»

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

(по поводу поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели)

Листают книгу юные блондинки,
листают с должным тихим пиететом,
и Таризель на красочной картинке
не безразличен девушкам при этом.

А ты,
не шибко вслушиваясь в лепет,
подумал неожиданно и хмуро:
«Был тигр наверняка великолепен,
пока не стал лишь импозантной шкурой».

ДАНТЕ
(к картине Боттичелли)
триолет

Глаза – нет и намёка на прищур,
рот – на улыбку нету и намёка.
Он видел ад – вблизи,
рай – издалёка...
Глаза – нет и намёка на прищур.

И ничего ему не чересчур:
ни слава мировая, ни морока...
Глаза – нет и намёка на прищур,
рот – на улыбку нету и намёка.

СТАРЫЙ ПЕТРАРКА
секстина

Зачем секстина тяжкая Петрарке,
когда легко освоил он сонет?
Что, оный не выдерживает жаркий
накал любви и яркой мысли свет?
Иль для грядущей триумфальной арки
недостаёт блистательных побед?

И то, и это.

Мало их, побед,
весьма честолубивому Петрарке,
и о подобье триумфальной арки
всплывает-таки мысль.

И мал сонет, -
он просто не вмещает мысли свет,
равно как и накал любовный, жаркий.

Однако же порой закат нежаркий
пригляднее, чем фейерверк побед.
Да и луны неверный бледный свет
порою безрассудно мил Петрарке.

(И для обоих как родной – сонет,
и впору свод любой победной арки).

А радуга сто крат прекрасней арки –
ввергается поэт в восторг, столь жаркий,
что, раскалён, чуть держится сонет...
Ах, всё не то!

Совсем иных побед,
иной любви недостаёт Петрарке.
Совсем иной ему забрезжил свет.

Да, дивнозвучный дальний горний свет
(который, кстати, не выносят арки)
всё более необходим Петрарке.
И остывает пыл сердечный, жаркий,
и тихо меркнет блеск земных побед,
и кажется забавою сонет.

Секстина замещает тут сонет.
Она вмещает этот горний свет,
в котором оседает пыль побед:
и на руины триумфальной арки,
и на любовный пепел, прежде жаркий –
так мнится престарелому Петрарке.

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНО О ШЕКСПИРЕ

У мэтра в пьесах сотни персонажей.
Добро бы короли...

 Так нет же!
 Ведь и
могильщики, и призраки, и даже
малютки эльфы,
 сплошь в пыльце соцветий.

И меж собою так они несхожи!
У каждого свой характер, правда,
боль, несусветица...
 И всё же, всё же
во всех них неуничтожим сам автор.

В сонетах же красуется пред нами
герой, зарифмовавший без усилья,
со всеми, извините, потрохами,
себя родного лишь...
 Эсквайр Уильям
пред нами как живой и...
 как на блюде,
как редкостный субъект...

Блистательный денди спускался в забой,
назавтра ж, как десять Лукуллов, питался.
Однако пытался остаться собой,
пускай не успешно, но всё же пытался.

Пытался острить, пытался дерзить
с улыбкою лёгкой и полупоклоном...

Когда ж его предал дружок-паразит,
то он, заточённый, рукою холёной
так сердце читателя вечного сжал,
что стонет второе столетье читатель...

Ах, как же убийцу казнённого жаль!
Сильней, чем убитую жёнушку, кстати.

КОЕ-ЧТО О МОРЕ

Пижоны роняют в бульварном турне:
«На море – затишье.

Пора отлива... »

А море,
отгрохав работу вчерне,
теперь отшлифовывает кропотливо.

ЛИТ. ИНСТИТУТСКИЙ СПОР

- Вот Маяковский (на что громада!),
и тот писал, мол, ему надо,
чтоб больше поэтов разно-хороших!
- Да! Но не мельче табачных крошек...

НА ОСТАНОВКУ, ЗА ИЛЬЁЙ СЕЛЬВИНСКИМ

Я шагал за ним и просто
знай талдычил две строки:
«Мы, орлы, не вышли ростом,
только крылья широки!»

ЛИТ. ИНСТИТУТ

Институт Литературный,
надо б: имени Сальери...
Опрокинутые урны,
запрокинутые пери...
И устойчивый, исконный –
как он всем тут мил и дорог! –

самогонно-эпигонный
запах в этих коридорах.

НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

Лишь окончилась сессия,
наши соседи
обнаружили – каждый! – деньжата в мошне.
Волокуют тюки шмоток и сумищи снеди.
Даже я укупил пару книг и кашне.
Ты один по лабазам не рыскал, как серый,
на вокзал ничегошеньки не приволок...

Да и был ли у тебя в огромном эСэСэСэРе
свой уголок?

СТРЕЖНЕВЦАМ

(участникам лит. объединения «Стрежень»)

Не к лицу нам писк,
коль бурлак в родне:
«Хоть видать Синбирск,
да идти семь дней!»

ЕСЕНИН

Есенин нам подарен добрым Богом.
Благодарить бы, млеть и восторгаться...
А мы всё злимся, что живём убого!
Мы вправду бедные среди богатства.

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ

Роберту Винонену

Скорбно уплывали, улетали –
вслед плевки и пакостные клички! –
в чуждые, неведомые дали,
к чопорному чёрту на кулички.

Еле отдышавшись, без заминки
принялись искать, тихи и кротки,
кто – мерцающие чуть крупинки,
кто – сияющие самородки.

Что же чёрт?

Он злобствовал впустую.
Предоставил им (хоть не просили)
Всемогущий жилу золотую –

ностальгию по России.

ЛОРКА И ВЫ

«И тополя уходят,
Но след их озёрный светел... »
Г. Лорка

Пусть вы расхвалены на все лады
и на руках у вас, конечно, козыри,
вам не увидеть светлые следы
ушедших тополей на глади озера...

ГЕРБ

рондо
Елене Токарчук

Три стрелы серебряных на сером
(свойственном ненастным мутным сферам),
три, летящих ввысь наискосок.
А насколько их полёт высок,
ведомо лишь было тамплиерам

и, быть может, мрачным изуверам,
что сожгли строптивцев за часок,
чтоб занёс забвения песок
три стрелы серебряных.

Но, хоть и слышу я маловером,
служат мне с ребячьих лет примером
три, летящих ввысь наискосок,
три, навек презревших всякий прок,
три, приверженных, увы, химерам,
три стрелы серебряных.

ЧУДО

...Ещё сказать хочу:
на жизнь я не в обиде,
я видел чудо,
видел
Елену Токарчук.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Вы думаете, нет меня в живых?
Откинул, мол, копыта, не состарясь?
А я живу. Вне тела. Попривык.

Но упаси нас Бог
уверовать в особость
свою,
 в высоколобость
и что под нами массы
унылых лежебок...

КОНЦЕПТУАЛИСТ

«О!» – встретив Ноль, вскричал мудрец известный.
«О-О!» - наперебой взвопили повсеместно.
Шут единичку спереди черкнул для смеха...
Теперь Величину за месяц не объехать.

РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

У Брюсова – как после капремонта,
блеск металлического механизма,
холодный блеск...
 Касательно ж Бальмонта,
то там не столько облик, сколь харизма
в венке роскошном, где живых багряней
матерчатые маки, астры, розы...
А Северянин...
 А уж Северянин –
сплошь подиумные поэзопозы...

Всё это так и всё не так, однако.
Увидишь ты старательность и навык,
и знания, и знаки Зодиака
(порой на маслянистом дне канавы),
и дерзость, что на выдумку горазда,
и форму, форму, что первостатейна...
когда поставишь рядом для контраста
убожество Льва Рубинштейна.

ВСЯ КАК ЕСТЬ

сонет

«Ах, не хватает суток, хоть убей!
Ох, как гудят натруженные ноги!
Тут – презентация, там – юбилей...
А выставка?
 А конкурса итоги?

Что, что?

 Какой племянник?

 Ах, Андрей...

Минутку...

Диабет сейчас у многих...
Минутку – запишу: «Звезда морей!»
А? Каково? И это – по дороге!

Неужто ликованья дальний гул?!
Бегу, бегу...
Кто при смерти?
Всем тяжко.
Тут – только пять процентов тиража!

Потом, потом...
Я опоздать могу...»
Бежит, бежит, бежит литтаракашка,
и усики пробились, и дрожат.

НА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Каждый рад обласкать,
лишь Егор ершист:
«Ишь ты, два волоска
растопорщившись!»

ПАЖ

Анатолию Минарову

Рыцарь, рыцарь...
Куда он?
Какою загрезил агрессией?
Паж, он при госпоже,
а при нём лишь кинжал на бедре.
Но, когда госпожу его все именуют Поэзией,
славен паж,
несмотря на... усы в серебре.

КУЗЯ

В предместье, по зелёным дворикам,
лишь солнце сквозь забор неплотный
блеснёт – уж песенки топориком
выводит Кузя, старый плотник.

И веселят сердца невинные,
сильней вина иль побасёнки,
коленца, чисто соловьиные,
хотя всего лишь из сосёнки.

Как переливчаты различные

Вот вскинул желтенький флажок
дедок незамедлительно,
хотя туман едва прожѣг
тремя огнями Литерный.

И перестали тѣтки впрок
дуть кипяток целительный –
как горный бешеный поток,
грохочет мимо Литерный!

Глядит опухший инвалид,
затягиваясь длительно,
как на ветру брезент бурлит,
когда уходит Литерный.

Ему навстречу поезда,
страданьем всклень налитые.
Не опоздай, не опоздай,
скорей, скорее, Литерный!

Навстречу щебень и зола,
и смерти запах приторный...
О грозно как гудит земля,
когда несется Литерный!

И задает колесам такт
Россия повелительно.
А под брезентом – танк, танк, танк...
Все ближе к фронту Литерный.

ПАЦАНЫ-44

В.И. Марченко

Война - от нас, а мы – за ней,
куда от нас ей деться!
Ведь мы, четырнадцать парней,
военные все с детства.
Идѣм мы в райвоенкомат,
довольно бить баклуши –
бои на западе гремят
всѣ далее и глуше.

А впереди дымится машина вверх колѣсами,
но танки обгорелые успели уж остыть.

А слева на пригорке под чёрными берёзами,
такие аккуратненькие белые кресты.

На нас одёжка не свежа.
Зато у нас на брата
по два картофельных коржа
и по два автомата.
Вдобавок Петька, словно кот –
выгорбливая спину,
в лошажьей торбе волокёт
целёхонькую мину.

А Петькин брат – он старший, ему пятнадцать минуло –
остался дома в сторожах, поскольку он без ног.
Отправился на речку глушить налимов миною,
да на пороге, говорит, споткнулся о пенёк.

Конечно, мина – это вещь,
тут каждый согласится.
Но можно вовсе осоветь,
коль с минами носиться.
И без того шатает нас,
растрёпанных и потных.
Мы к нашим «шмайсерам» в запас
несём рожков до сотни.

А ведь несли бы больше, когда б не шандарахнули
поверх голов девчоночьих нарочно, напоказ.
Вот то-то визгу было! Аж галки вверх шарахнулись,
и в стороны шарахнулись, как галки, облака.

Девчонки эти, вот народ!
Ведь не храбрее зайца,
а попытались на фронт
за нами увязаться.
Ну, правда, Ленка... что ж, она
нисколько не сробела.
Но – обойдётся! Ведь война
мужское всё же дело.

А на селе мужчины – почти что все ровесники.
Поскольку старше нас неkvёлых вовсе нет.
Двенадцать расстреляли, да семерых повесили,
а что с другими сталося – для нас пока секрет.

Но мы-то вот они!

Братва

с оружием и на марше.

И, если честно, черта с два
мы в чём уступим старшим.

Мы можем всё: под ливнем спать,
стрелять стоймя и лёжа,
картошку по ночам копать
и рыть могилы тоже...

А матери и бабки сейчас, конечно, в панике,
поскольку принимают нас, смешные, за детей.
Попробуй им втолкуй, что мы не паиньки
и нам не до сопливых ребяческих затей.

ФУТБОЛИСТЫ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

Горбясь, молча шагают сквозь свист.
«Трупы!» - кто-то вопит им гортанно.
Чуб, как вымпел приспущенный, свис
на задиристый нос капитана.

И вратарь под большой козырёк
взгляд упрятал от белого света.
Губы – словно он хины отведал.
Да притом не один порошок.

У защитника грязь на спине.
И корёжатся «края» лопатки –
ведь болельщиков рьяных нападки
в них впиваются злее слепней!

Но и в спинах, сутулых, как свод,
и в тяжелом, угрюмом молчаньи,
то таится уже, что прорвет
сетку пушечными мячами!

АКВАЛАНГИСТ

Николаю Шушарину

Прошел и будто не был день горластый.
И в странной отключённости ночной
я надеваю акваланг и ласты
и опускаюсь медленно на дно.

На дне июльским солнцем пахнут сосны,
и, от загара быстрого лилов,
Валерка залихватски крутит «солнце»
на ломе, укреплённом меж стволов.

На дне цветы и травы по колено.
И есть цветы – красивы колдовски!
В них, ситцевых, бежит подружка Лена,
бежит по тротуару в три доски.

На дне ручей с размытою запрудой.
А там – ну как об этом рассказать? –
На поплавке вдруг маленькое чудо:
блестяще-голубая стрекоза!

На дне кресты глядят совсем не строго,
как пацаны гоняют мяч весь день.
И огибая кладбище, дорога
уходит по увалам вдаль... На дне.

Он помолчал, насупленный, землистый,
и затянулся «Варною» жадней:
«Мелко плавали специалисты,
если родина моя на дне».

ШУТЕЙНО

Поэзия – фантомный мир,
поэзия – наркотик,
поэзия –
 как ни корми!
налево ходит...

МУХА

*В древние времена жила Муха
Лукиан*

Нам за наш ударный труд
на пределе
дали к пиву воблы пуд –
загудели!

С капитана же Матвея –
бум-тум-тру-ля-ля!
сняли фото для музея,
гля?!

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Александрю Шушарину

Над озером осенним тишь прочна –
хоть пальцами озябшими потрогай.
Но сосны, вековые, как одна,
застыли настороженно и строго.
За соснами краснеют, как заря,
монастыря посеченные стены...
Молитесь же за русских и зырян,
молитесь, сестры, за детей – бессменно.

Молитесь да и плачьте, коли плачется –
как скупомы слезами оросили
немерность гибельной, самопалаческой,
но все еще возлюбленной России.

Вдали, поре осенней вопреки,
на улицах вонь выхлопов и ругань.
Там роются в помойках старики,
а парни «мочат» что ни день друг друга.
Там малолеток пёстреньким драже
за всё вознаграждают бизнесмены...
Молитесь за банкиров и бомжей,
молитесь, сестры, за детей – бессменно.

Молитесь да и плачьте, коли плачется –
как скупомы слезами оросили
немерность гибельной, самопалаческой,
но все еще возлюбленной России.

БАРД

Утомлен и удручен блистающими
пиршествами, связями, ристалищами,
он полулежал, слегка растрепанный.
Меч валялся рядом с гороскопами.

Чудились порой глаза красавиц...
Пальцы золотистых струн касались,
слабый пыл преобразуя в пыль:
«Я – был... Я был...»

Но когда нагого, изувеченного,
в подземелье бросили навечно его,
выпрямился он, звеня оковами,
словно наконец-то коронованный!
И с незамедлительностью гулкой
по застенкам, башням, закоулкам
эхо разнесло благую весть:
«Я – есть! Я есть!»

ПОСЛЕДНЯЯ РАДУГА

Радуга,
высоко-высоко,
над тусклым глянцем крыш,
над жухлыми, мокрыми кленами...
Радуга,
вернувшая из детства зачарованность –
тогда мне подарили цветные карандаши...
Высоко-высоко
по дымным тучам –
радуга.
А над ней –
голубая проталина.
Гляжу – и меня втягивает
эта глубокая, наполненная голубизна.
Втягивает –
как запах полевых цветов
или порою музыка –
в мгновенные воспоминания
о многом, чудесном,
чего в моей жизни не было
и уже не будет...
Радуга, последняя радуга,
высоко-высоко
над играющими во дворе девочками
в разноцветных пальтишках.

А славно быть утром: настать после мглы

и высветить кроны, за ними стволы,
и даже в убогой каморке углы...
Как славно быть утром!

Оно – ожидание той новизны,
что нас будоражит, похлеще весны,
морских горизонтов и дебрей лесных...
Как славно быть утром!

Мой желчный, мой вечно похмельный сосед
кончает любую из наших бесед
унылым рефреном: «Мол, счастья-то нет...»
Есть счастье: быть утром.

ТО С ВЫЗОВОМ, ТО СТРАСТНО, ТО ДЕРЖАВНО...

*До чего ж поэты нынче... Не поэты,
между нами, музами, говоря!*
В. Масюков

А если как следует задуматься, то в большинстве своём современные лирические герои – не то что не герои, но и лирическими их назвать сложно. Поэтому так отрадно держать в руках новый сборник Виталия Андреевича Масюкова, большого поэта и настоящего лирического героя собственных произведений. Ну, согласитесь, разве речь старого настоятеля:

«Уменье изъясняться словесами
идущими лишь от ума, черно!
Черно, хоть красноречием мы сами
его зовём...»

не напомним всякому, кто считает себя учеником Виталия Андреевича – его самого? Тем более, мало кто способен в пределах одной страницы окрестить муз, недовольных своими подопечными, «язвами» и сплетницами, и тут же иронично признаться:

«В лучшем случае я кто?

- Версификатор.

До поэта мне подняться не дано».

Надо добавить, что достаточно трудно цитировать Виталия Андреевича. И даже не потому, что сборник представляет собой крупные формы, а потому, что они созданы как бы на одном дыхании – и читаться должны соответственно. Будь то причудливая вязь поэмы «Меч или Наказ Мерлина», где одно слово нанизывается на другое, или «Проделки чёрта», напоминающие безудержный пляс, при котором остановка смерти подобна, или уже многим известный и полюбившийся «Отбор», с его воистину непередаваемым юмором, или «Вечерний хоккей», который на одном вздохе проглотит всякий уважающий себя болельщик (да и не болельщик тоже!). Иной раз, читая, поражаешься способности автора так ярко передавать настолько, казалось бы, разные вещи. А всё потому, что многим из нас до собственных лирических героев ох, как далеко! Недаром же говорят те самые музы

И не до буколик моему герою,
он уже и стиль сжимает, как стилет.

Он готов на приступ – взять, к примеру, Троию,
но с лежанкой рядом Трои что-то нет.

А для Виталия Андреевича, кажется, нет ничего невозможного. Не держат его «крепкая рассудка сеть», страх «Спарты, персов и ворья», и кому, как не ему сокрушаться, что сограждане «разобщены и чужды друг другу», даже взаимно враждебны.

Так и нечего, читатель, бояться и сдерживаться. Разве не стоит разделить с автором удовольствие

«... устранить –

ну, хотя б на время –

от всяких вроде неотложных дел,
которые, как оказалось, вовсе
никчёмны».

и выразить себя так же, как ощущаешь – «то с вызовом, то страстно, то державно».

Мария Шакун, член Союза писателей России

ОТБОР (крупные формы)

РАБЫ ЦИЦЕРОНА

Венок сонетов

Илье Шокину

КАРКАС

Взгляд снизу, он, как правило, не зорок,
не видно снизу лавров и корон...

Рабов тех окликали: Рокс и Орокс;
рабовладельца имя: Цицерон.

Он пал, рабы ж... поднялись до упора
в дни долгих необычных похорон.
На них взглянуть, присутствовать при спорах –
спешили римляне со всех сторон.

Рокс вспоминал негромко и устало,
и вклинивался Орокс истерично,
и вновь повествовал негромко Рокс...

А близ душа убитого витала,
не с целью в теле побывать вторично –
ей отлететь ещё не вышел срок.

1

«Взгляд снизу, он, как правило, не зорок» -
услышал я однажды за спиной.
Что ж, низких сущностей во мне – за сорок:
и раб, и уж, и ёжик, и пенёк,

и... Если б перечислил все, не скоро
я сплёл бы этот скромненький венок.
Однако ж нас от темы разговора
чуть отнесло (сквозняк тому виной).

И, нагоняя на иных мигрень, я
готов немедленно держать пари (как

французистый азартный фанфарон),

что тут проблема не в дефекте зренья,
не в занесённых ветерком соринках -
не видно снизу лавров и корон.

2

Не видно снизу лавров и корон,
а цен, за них заплаченных, тем паче.
(Вот Гай был вроде свыше одарён,
но дар тот кровью собственной оплачен)

Считает кто-то, будто есть резон
платить за всё в сей жизни (пусть собачьей),
а кто-то, лишь ступив за горизонт
последний, зрит: расплата там маячит.

Но речь у нас пока что о земном,
земном сугубо (ибо снизу) взгляде,
которому неведом всякий морок.

И о рабах, конечно, не замнём
мы разговор ни при каком раскладе.
Рабов тех окликали: Рокс и Орокс.

3

Рабов тех окликали: Рокс и Орокс,
да, окликали так же как собак,
что рады хвостин, зло бьющих, ворох
вослед хозяевам нести в зубах.

Но Рокс и Орокс не познали порох,
равно как шишек на склонённых лбах.
И спины обнажённые в узорах
багровых видели у бедолаг

соседних лишь. А сами лоботрясы,
когда хрусталь им обронять случалось,
невосполнимый нанеся урон,

лишь красочно-ругательные фразы
выслушивали. Диво ль? Коль звучало
рабовладельца имя: Цицерон.

Рабовладельца имя – Цицерон -
звучало для иных весьма паршиво,
для тех, кто был постыдно покорён
немудрым властолюбьем и наживой.

Великий Гай, про близкий слыша трон,
покачивал лишь головой плешивой.
Не то его клевет, сей солдафон
взъярился: «Цицерон?! Доселе жив он?!»

И Роксу с Ороксом пришлось влачить
носилки с Цицероном сквозь кустарник
рысцою спотыкучею, неспорой...

Но вскоре их настигли палачи.
И после слов владельца благодарных,
он пал, рабы ж... поднялись до упора.

5

Он пал, рабы ж... поднялись до упора,
до уровня плебеев коренных.
Не смел любой из римлян, без разбора,
уж запускать огрызком груши в них.

Не смела сыпануть в их чаши сора
любая из распутниц озорных.
И полудикая собачья свора
не обрывала с лаем их туник.

Напротив! Псы, завидя их, виляли
хвостами, звали грешницы в постели,
а от иных достойнейших матрон

им снедь с вином в избытке доставляли...
Рокс с Ороксом заметно потолстели
в дни долгих необычных похорон.

6

В дни долгих необычных похорон,
как только в злободневных разговорах
произносил кто-либо: «Цицерон...»,
вослед произносили: «Рокс и Орокс...»

В ряд эти имена под грай ворон
смутьяны малевали на заборах.

(Поэты ж хмыкали: «Оксюморон!»
и в лупанарий устремлялись бодро)

И подытожить можно беспристрастно,
что популярность двух рабов такой
была, что триумфатору лишь впору.

Хотелось многим, а не только праздной,
до крови падкой, черни городской
на них взглянуть, присутствовать при спорах.

7

На них взглянуть, присутствовать при спорах –
не любопытство лишь народ влекло,
но и проникшее, должно быть, в поры,
как мелко истолчённое стекло,

тщеславье – зуд приятный и упорный.
«В грядущем, мол, - куда б ни занесло, -
в таверну, в термы иль на форум вздорный –
мы также сможем вставить пару слов.

Своим сынкам (да всем, кто нас моложе)
нам будет, что поведать с видом важным
(и менторский уместен будет тон)» -

не без подобных мыслей, предположим,
к стенам, от слёз обильных будто влажным,
спешили римляне со всех сторон.

8

Спешили римляне со всех сторон –
кто смело, кто с оглядкой то и дело.
И чем слышнее были плач и стон,
тем возбужденнее толпа гудела.

Дом не рассчитан был на легион.
Располагались рядышком, в пределах
той роши, что, казалось, в унисон
окрестным людям скорбно шелестела.

Рокс с Ороксом, пунцовы спозаранку,
царили тут. Валялась вокруг еда,
и даже доброго вина хватало.

Гася очередную перебранку,
кричали: «Тише! Тише вы!», когда
Рокс вспоминал негромко и устало.

9

Рокс вспоминал негромко и устало:
«...сказал, что не позволят быстро нам
в бою погибнуть – нас, во что бы то ни стало,
разоружат и пригвоздят к крестам.

И потому, не прихватив и палок,
мы хватать носилки и – без троп, по пням...
И Цицерон нисколько не был жалок,
сидел в носилках – нем, угрюм и прям.

Но, лишь вдали блеснул доспех погони,
он вновь заговорил: мол, сколько раз
беды пугался, чаще риторичной,

теперь же – гляньте! – валуна спокойней...»
Тут Рокс смолкал и головою тряс.
И вклинивался Орокс истерично.

10

И вклинивался Орокс истерично:
«Я первым шёл и слышу: «Орокс, стой!»
Зачем? Ведь не смогли б они настичь нас,
ведь за кустарником был лес густой!

Мне б - с ношей – припустить, но я привычно
повиновался... Раб я, раб простой
с душонкою податливой, тряпичной...
А лучше б с никакойю! С пустотой

в груди! Чтоб не терзался я, не помнил
я слов: «Благодарю за верность, Орокс»,
не помнил в красных, мокрых листьях дрок!»

И, сжав в ладонях пыльных кубок полный,
злосчастный пил и пил, устав от ора...
И вновь повествовал негромко Рокс.

11

И вновь повествовал негромко Рокс:
«...велел носилки опустить, самим же

в сторонку встать и дать себе зарок
казаться безобиднее, чем мыши.

А благодарности слова изрёк
он каждому из нас вослед, и тише
добавил: «Огради двоих хоть, Рок,
от ненависти, столькох поглотившей...»

Мы отошли, и тут же показались
центурион ощеренный, чумной,
за ним трибун, похожий на шакала...»

Внимавшие согласно ужасались
и проливали на траву вино...
А близ душа убитого витала.

12

А близ душа убитого витала,
то тут, то там, меж крон едва-едва
мерцающая, как осколочки кристалла,
и слышала, и видела, что два

раба среди толпы какой-то шалой
ораторствовали... Но их слова
её, мерцающую душу, мало
касались... А касалась – листва,

да облачко на сини небосклона,
да птицы, певчие и молчуны,
такие многодумные, как сыч... Но

она, душа, с порывом Аквилона
влетала также в дом, что так уныл –
не с целью в теле побывать вторично.

13

Не с целью в теле побывать вторично,
а чтоб прощально и исподтишка
взглянуть на те, под фреской мозаичной,
папирусы, на лист черновика,

прижатый вазою неэстетично –
вот для чего, мерцающе-легка,
учуяна лишь кошкой апатичной,
душа посеченного старика

влетала в дом всего-то на мгновенья.
И вновь, поблескивавшим волоконцем –
в мир, что пока достаточно широк,

чтоб в нём укрыться от людского рвенья...
И тихо нежилась душа под солнцем –
ей отлететь ещё не вышел срок.

14

Ей отлететь ещё не вышел срок
туда, за синий полог небосвода,
и ей, душе той, прежде не свободной
от опасений, зависти и склок,

теперь так славно стало, что охотно
она б осталась здесь, чтоб ветерок,
ероша кроны, и её щекотно,
по-родственному овевал бы впрок...

Но этого не ведали, увы,
рассевшиеся меж стволов. В печали
все пребывали. Даже Рокс и Орокс,

поглядывая вверх, среди листвы
мерцанья слабого не замечали –
взгляд снизу, он, как правило, не зорок.

ЧУДНОЙ СТАРИК **/СОКРАТ/**

венки сонетов

Памяти Льва Леонидовича Фомина

Каркас

Тогда и солнце было помоложе,
и в городах водились шалуны.
Один старик, к примеру, корчил рожи
и в общем жил, как будто он –
с луны.

Но жили близ и граждане построже,
достойных, важных замыслов полны.

А тот старик, несносен, невозможен,
добро б кривился лишь
иль, скажем, ныл –

нет, сыпал он на всех вокруг вопросы,
вопросы – как зловредные репы.
Да кто б спустил такому старику-то?!

И в Суд явился он, урод курносый,
своей же речью приговор скрепил
И осушил легко стакан с цикутой.

1.

Тогда и солнце было помоложе
и всё, что есть под ним, само собой:
уж если и озёра,
в дрёме лёжа,
являли ивам ласковый прибой,

уж если и луга налёт пороши
приветствовали радостной росой,
уверены, что ветер крылья сложит
пред кроткою и радужной красой...

Тогда циклопы,
Без больших усилий,
утёсы двигали.
По перелескам
сатиры шастали.
С утра хмельны.

Кентавры с гиком по степям носились.
Наяды в заводи сигали с плеском.
И в городах водились шалуны.

2.

И в городах водились шалуны,
забавней, право ж, чем по косогорам,
в кустах и на равнинах заливных...
Хоть это нелегко, представим город,

где кровли зданий соединены
канатами,
дабы по ним с задором
туда-сюда сновали плясуны!
А то комедии игрались –
С хором,

без исключения вставшем на котурны
и в масках ос иль... облаков!

И так
шалили безобидно,
хоть несхоже,

не только юные лихие дурни,
но и мужи, как говорят, в летах.
Один старик, к примеру, корчил рожи.

3.
Один старик, к примеру, корчил рожи,
окрестной потакая малышне.
И детский заполошный визг,
восторжен,
был всех зазывных возгласов слышней.

Случайный недоумевал прохожий:
«Зачем, к чему, мол, делать пострашней
лицо,
которое и так похоже
на виденное только в страшном сне?»

Да, выглядел старик тот неказисто:
весьма курнос, плешив и большерот /но
глаза, хоть и навывкате, умны/,

по улице афинской каменистой
передвигался как-то чужеродно.
И, в общем, жил, как будто он –
с луны.

4.
И, в общем, жил, как будто он –
с луны:
не пас, не крал и краденое даже
втихую не скупал за полцены,
чтоб самому нажиться при продаже.

Он отдал в руки цепкие жены
хозяйство всё,
от кур и коз до пряжи,
тем самым ей в обязанность вменив
чихвостить мужа в праведнейшем раже!

Порой с утра надрывный женин крик
знай бушевал над изгородью хлипкой,
казалось, прутья тонкие корёжа.

И этой ругани внимал старик

Ведь спозаранку возле баламута
порою колготилась молодёжь,
их обожаньем искренним окутан,
казался вдруг он чуть ли не пригож!

Однако ж есть терпению предел.
И в управленье всяких дел сквалыжных
заряли воронами доносы.

Чудак, узнав, наверно б, поседел,
когда бы не был лысым, как булыжник...
И он явился в Суд, урод курносый.

12.

И он явился в Суд, урод курносый,
хоть искричалась жёнушка: «...Не смей!»
хоть мрачные, зловещие прогнозы
давал один из молодых друзей

и уговаривал укрыться от угрозы...
Весною,
в самый солнечный из дней
встал пред Судом высоким низкорослый,
босой, в хитоне латанном злодей.

И к смерти старика приговорили.
И про себя шептали сотни судей:
«Ну! Кайся слёзно, старый ты дебил!

И – приговор смягчим...»
Но и без крыльев
вознёсся осужденный и, по сути,
своей же речью приговор скрепил.

13.

Своей же речью приговор скрепил,
оторопевшему Суду поведав,
что он имеет право на обеды
бесплатные,
поскольку-де лепил
людей по мудрым божеским заветам...
Его,
взъярясь,
пустили б в миг в распыл!
Да надо было подождать до лета,
когда б священный тот корабль приплыл...

И на побег без малого талант
друзья собрали,
обойдя Афины.

Но стражник запросил вдвойне, паскуда.

Собрали и вдвойне...

Но арестант –
«Я чту законы», - произнес повинно.
И – осушил легко стакан с цикутой.

14.

И – осушил легко стакан с цикутой,
причем блеснули –
 вот те на! –
 глаза
ребячьим любопытством: что там – за?
За жизнью,
 за земной?
 Глухой закуток

иль осиянный многолюдный зал,
иль...?
 А друзья молились двое суток,
чтоб ожил он на краткий срок
 и, чуток,
о послежизни что-нибудь сказал...

В те давние забытые года
гетеры нежные заласкивали струны
и лепестками устилали ложе.

А меж столпов отечества тогда
мелькали старики с душою юной...
Тогда и солнце было помоложе.

МЕЧ ИЛИ НАКАЗ МЕРЛИНА

Поэма

-... переплывешь пролив,
 напротив
скалы с названьем Волчий Клык.
По тропке, справа от скалы,
пойдешь наверх,
 дивясь окрасу
окрестности.
 На повороте
увидишь опалённый бук
меж валунов огромных двух.
Сойдешь с тропы.
 За буком сразу

с почтеньем молвишь: «Да хранит
вас Бог!

Вы трудитесь упорно
не потому, что так, мол, надо,
не для своих кишок,
не для
семьи,

не ради короля
и алчной челяди придворной.
Нет, труд для вас сродни забаве,
когда пятьсот пустых потуг
венчает вдохновенье вдруг
с сиянием в полнебосклона!
И даже речи нет о славе –
за вдохновеньем

в свой черед
мерцает прилежанья пот
необозримостью солёной...
когда ж изделие готово,
и восхищенье знатоков,
глядишь, достигнет облаков,
ваш взгляд критично бесшабашен;
мол, проще, кажется, простого
и малость не прояснено,
и не ко времени оно,
и не совсем как будто ваше...»

Вот что ты скажешь.

Правду скажешь
/ту самую, что так редка/.
Однако гномы упрекать
тебя за ту не будут правду.
Наоборот!

Приятно даже,
ручаюсь, станет всем троим.
Ты им покажешься своим,
под стать вдруг выросшему брату!

Они блаженные, те гномы.
Ведь без каких-либо торжеств
вручая снизу –
славный жест! –
свои изделия людям рослым,
молчат о трёх желаньях скромных:
чтоб приняли не второпях,
чтоб поняли: зачем и как
и полюбили чтоб /пусть после/.

И на твое прошение молча
кивнёт лишь гном-носач /причем
нос колыхнется кумачом!/,
и подмигнет лишь жаркоплеший.

А рыжий что-то пробормочет
и повернется,
 и к стене,
где пляска бликов и теней,
приблизится
 и, как ослепший,
протянет руки вниз несмело...
Так постоит недолго там
и, пятясь, по своим следам,
вернется к прочим –
 то ль подсвечен,
то ль обведён искристым мелом...
Когда же вновь лицом к тебе
он повернется –
 оробеть
и волку впору по-овечьи!

Но ты-то, думается, робость
брезгливо под ноги стряхнешь,
как, скажем паука иль вошь,
и далее, не глядя, пяткой
столкнёшь в зияющую пропасть,
не зная сам, что так верней
раз навсегда расстаться с ней,
с той робостью,
 на подлость падкой.

Вот так, не оробев, -
 с восторгом,
на согнутых в локтях руках
оранжевого чудака
увидишь меч необычайный.
И вмиг поймёшь: не будет торга.
Другого сразу не поймёшь:
на что сей странный меч похож?
Какие в нем сокрыты тайны?

Догадок будет пребогато.
То ль он – как на ночной реке
дорожка лунная,
 никем
не пройдена...
 То ль – как дорожка
от солнца в тихий час заката,
вся в золоте /ах, в два прыжка
туда б, но лоси с бережка
глядят на красоту сторожко/...
То ль – будто бы ручей,
 морозцем
вдруг скованный,
 как заблистал!
Но отражён в нем неспроста

багрец листвы...

Гадать покуда
так будешь,
уж оруженосцем
предстанет и плешивый гном –
он ножны грубые с ремнём
достанет из пристенной груди.

Не медля, гномы сообща
тебя диковинным мечом
и опояшут тут,

причём
в молчанье полном.
И лишь где-то
внизу, в глуби проверещат
какие-то исчадья тьмы,
а может, души горемык,
презревших Божие заветы...

И гномов, мастеров великих
/пусть тот носат, тот лыс, тот рыж/
ты молча поблагодаришь –
да, да, без похвалы усердной,
без золота,

на коем лики
злодеев всяких испокон... -
да, только поясной поклон
с ладонью правою у сердца.

Затем,
явив уместно удаль,
ухватишься ты за канат
И – вверх!

И будешь скоро над
упрятанной в гранитной нише
чудесной кузницей,
откуда
вновь зачастит упорный стук –
видать, понятие «досуг»
для гномов совершенно лишне.

И скоро озадачит крайне
тяжёлый меч.

Тебя тянуть
ему бы должно вниз...
Отнюдь! –
Качаться будет он,
натужно
звенеть и скрежетать в старанье
тебя поднять.

Не меч – крыло,
которое вдруг обрело

меча нежданную наружность!

Когда ж из пропасти кромешной
ты выберешься,
 то хвалу
воздашь Творцу,
 и на валун
присядешь,
 чтобы отдышаться,
затем бездумно, безмятежно
смотреть,
 как птицы мельтешат,
как скрыться ящерики спешат
и муравьи как копошатся.
И наблюдая отстранённо
за жизнью, что мелка, легка,
ты ощутишь:
 то ль от клинка,
который в ножнах – как в темнице,
то ли от бука тёмной кроны,
то ли от звёзд,
 незримых днем,
исходит нечто,
 что огнём
уже в твоей аорте, мнится...

Захочется царем пернатым
сорваться с валуна,
 взлететь!
Но крепкая рассудка сеть
не даст.
 И ты, встав неуклюже,
Займешься, не спеша, канатом,
скатаешь оный поплотней
да и пристроишь на спине –
горбом спасительным верблюжьим.

Так, сдерживая буйство крови,
под неумолчный грай ворон
ты обойдёшь со всех сторон
скалу,
 чьи склоны все отвесны,
у коей с облаками вровень
верх острый,
 где лишь вихрей злых
привал...
 Недаром – Волчий Клык –
назвал скалу ту скальд известный.

Ты тихо обойдёшь громаду
и раз, и два, и может, три,
шепча себе одно: «Смотри,

где щели, вмятины, уступы...»
Вдруг сердце – «Тут!» - подаст команду.
И повторишь ты эхом: «Тут!»
И так определив маршрут,
шагнёшь к стене в щербинах грубых.

Как славно стать собой опять и
отбросить прочь рассудка сеть!
Ведь, чтоб в дальнейшем преуспеть,
необходимо безрассудным
быть или проще скажем – спятить
/кто, будучи в своем уме
на стену мрачную б посмел
лезть под вороньи пересуды?/

А ты, безумец несомненный,
замрёшь сначала пред стеной,
как перед юною женой,
чьи сёстры – солнечные вёсны,
затем прямой, чуток надменный,
и даже, может быть, кичась,
ты осознаешь: этот час
твой ослепительный,
твой звёздный!

Ты на уступ запрыгнешь смело,
на малый – с пятачок свиной –
и, чтоб не сверзиться спиной,
к стене прижмёшься, вязче глины,
и сразу же, ничуть не медля,
в те трещины,
что над тобой,
ты пальцы,
презирая боль,
вонзишь,
хищней когтей орлиных!
Затем уступ повыше малость
нашаришь ты – неважно как,
и,
подтянувшись на руках,
на нём и утвердишься, ровен.
А пальцы /ногти обломались
на коих/ в трещины опять
вонзишь,
в те, что всего на пядь
повыше первых в крапах крови...

И так вот, с болью и с натугой
ты будешь преодолевать
за пядью пядь, за пядью пядь
гранит отвесный и щербатый...
Неистошима сила духа,

которой каждый честный муж
недаром наделён!

К тому ж
тебе поможет, будто брату,
притом вновь озадачив крайне,
тяжёлый меч.

Тебя тянуть
ему бы должно вниз...

Отнюдь! –
Качаться будет он,
натужно
звенеть и скрежетать в старанье
тебя поднять.

Не меч – крыло,
которое вдруг обрело
меча неожиданную наружность!

Меж тем раздастся вой унылый,
предвестник рыков грозových.
И скоро уж не ветер – вихрь
закружит вокруг скалы неистов!
Он примется –

да что есть силы! –
от стенки отрывать тебя,
дабы швырнуть, растеребя,
на твердь низины каменистой.
И тучи, иссиня-свинцовы,
весь небосвод заволокут.
Мелькнёт,
как взмах руки,
лоскут,
последний и прощальный, синий...
И тьма,
из пропасти,
со дна
поднявшись,
всё вокруг и над
заполнит вмиг: мол, я – всеильный!

Но нет –
ни тьма из преисподней,
ни вихрь на пике куража
тебя ничуть не устрашат –
с тобой ведь рядом меч чудесный!
И всё быстрее и свободней
ты будешь преодолевать
за пядью пядь, за пядью пядь
гранит щербатый и отвесный.

И тут сверкнёт слепяще-бело!
И тотчас, невообразим,
над самым теменем твоим

гром грянет!

И тебе – на миг лишь –
почудится, что разлетелась
скала на части!

Дальше – вновь
на миг – увидишь сон дневной:
как будто вся округа в тигле
огромном!

В столь слепящем раже
сверкнёт вновь молния!

И гром
неимоверным топором
падёт уже на темя прямо!
Но ты не пошатнёшься даже.
Из ножен чуть подавшись,

меч

тебя сумеет уберечь.

А как? –

Нет, не имею права
на кой-какие из вопросов
ответить людям...

Но пора
продолжить.

Вслед за громом град
с небес обрушится нещадный.

И град тот не подобье проса,
а тыщи ледяных яиц,
конечно же, не из-под птиц,
а из-под тех исчадий чадных,
что гарпиями именуют.

Но... удивишься: лишь на вид
сей град неожиданный боевит.
Сверкать он станет – да, прегрозно,
но падать медленно,

минуя

тебя,

а на тебя – так вкось,
касясь мимолетно, вскользь,
пощипывая лишь морозно.

И, убедившись в неизменной,
всегдашней помощи меча,
ты захохочешь сгоряча –
как на гулянье молодёжном –
среди могильной ойкумены,
под вихрем,

градом ледяным,
над щебнем, к выступам стены
приклеившимся ненадёжно.

И так вот, неуместно весел,
продолжишь гибельный подъём,

покуда пересохшим ртом
не выдохнешь едва: «Вершина!»
И, сохраняя равновесье
опять же с помощью меча,
ты встанешь в полный рост,
шепча
лишь имя Божье,
на аршинной
гранитной, чуть косо́й площадке.
И вихрь, могучий, как дракон,
умчится с воем вдаль –
вдогон
за гарпией, видать, последней.
И град,
что сверху,
беспощадней,
чем молния,
разил и сёк,
не разбирая вся и всех,
тут снизу белизной постельной
поманит...

А когда из ножен
со звоном –
странного странней,
который будет в стороне
по-рабски расторопным эхом
на самого себя умножен –
ты светлый извлечешь клинок,
то удивишься: как с длиной
такой не стал тебе помехой,
как вообще смог разместиться
он в ножнах куцых и простых,
как /до сих пор ведь не остыл!/
те ножны даже не оплавил?
Но удивленье – как помстится.
И тут же этот малый сбой
забыв,
ты вскинешь над собой,
над блажью о казне и славе
чудесный меч!
И тучи прынут,
мгновенно высь освободив,
и солнце,
это диво див,
предстанет в выси – как впервые!
И ты качнёшься, будто спьяну.
Но тут незыблемый гранит
войдет в стопы и сохранит
тебя в мгновенья роковые.

И под внезапным, ярким крайне,
сакральным блеском с высоты

клинок,
 который будешь ты
вздымать,
 преобразится в светоч!
Да! От его зеркальных граней,
сияючи и горячи,
вразлет направятся лучи
на всё —
 на туч далеких ветошь,
на лес, холмистость покоривший,
на моря временную гладь
и на галерных вёсел лад,
на лилии и жаб в болоте,
на путаницу троп,
 на крыши
домишек, и на шалаши,
и на дворцы,
 где чуть души,
зато избыток всякой плоти.

Лучей тех,
 дивно преломлённых
на гранях твоего клинка,
не заслонит ничто никак —
ни стены мощные, ни своды,
ни колокольни, ни колонны
и купы вековых деревьев,
ни дым, ни прелести царевн,
ни вихри пыльные, ни воды...

И люди, где б ни оказались,
твой меч увидят в вышине.
Увидят, с нами наравне,
полуслепые и косые
твой меч,
 лучащийся на зависть,
помстится, солнцу!
 /Хоть оно
не в зависть —
 в гордость впасть должно:
мечтает, ведь, как все, о сыне/.

Да, меч, усыновлённый солнцем,
увидят все.
 И этот вид
кого-то тотчас вдохновит...
кого-то исцелит...
 и кто-то
с улыбкой ясной и поклонцем
прервёт на миг благой свой труд...
а кто-то,
 словно крот в нору,

забьётся в уголок с икотой...
и те, в ком злоба пузырится,
как разогретая смола,
вдруг удивятся: как смогла
бесследно,

 во мгновение ока
она, та злоба, испариться?!..
Так разный люд на разный лад
воспримет солнечный булат,
тобой воздетый столь высоко.

Но это будет только проба.
И вскоре в ножны, как ни жаль,
упрячешь блестящую сталь,
дар малых кузнецов-фанатов,
чей край родной – глухая пропасть...
Затем, нетороплив, но скор,
ты сменишь свой громадный горб –
моток надёжного каната.
Один конец кольцеобразный
в глубокой трещине скалы
закрепишь –

 так, чтобы орлы
не расклевали узел сдуру,
в том самом любопытстве праздном.
Другой конец же бросишь ниц,
где сотни ледяных яиц
похожи на баранью шкуру.

Ты спустишься легко, небрежно,
не поцарапав и колен.
Канат оставишь на скале –
он будет там ещё полезен.
Не вплавь, а по тропе прибрежной
минуешь пенистый залив
и – в рощу,

 голод утолив
грибами
 и сухую плесень
втерев в ушибы и порезы...
А там уж рядом твой приют,
где крохи голуби клюют
на подоконнике щербатом,
где будешь ты, немой и трезвый, -
погожим ли, дождливым днём,
на зорьке ль, в сумраке ночном –
всечасно ожидать набата.

Век не дожидаться бы!
 Но вскоре,
уверен, заполошный звон
враз вдребезги и тишь, и сон

расколет!

Тропкой проторённой
ты поспешишь на плоскогорье,
вскарабкаешься на скалу
и, к общему смятению глух,
величественно,
 будто с трона –
священный жезл,
 над ойкуменой
поднимешь меч!
 И даже в час
полночный,
 солнечно лучась,
он будет выглядеть всесильно.
Поскольку солнце,
 несомненно
богатствами не дорожа,
с лихвою, впрок и блеск и жар
оставит в светлых гранях сына.

И о какой беде великой
ни возвестил бы нам набат –
будь то летящие гроба
с червями чёрными и мором...
будь то набег ватаги дикой,
ощеренных полулюдей,
что раненых волков лютей...
будь то взбурливший гневным морем
ручей, в обыденности кроткий...
будь то и бедам всем беда,
беда, для коей мы – среда...
На нашей алчности безмерной
и острой зависти /ей глотки
хоть режь!/,
 на стадности тупой,
на ярой вере в бред любой,
на самомненье эфемерном
произрастает буйным злаком
и даже в зиму иногда
та превеликая беда,
которую зовут хронисты
междоусобицей...

Однако
я в многословии увяз.
Увы! Дается в речи связь
с трудом, когда тебе за триста,
когда премудростью навьючен,
как барахлишком – дромадер...
Так, говорил я о беде.
Мол, о какой бы там, грозящей
всему живому, неминучей,
ни возвещал, ни голосил,

ни надрывался б, что есть сил,
набат,

в расщелины и чащи
зверей всех устремляя прытко –
меч твой, сверкая с высоты,
беду принудит вмиг застыть
и – будто клуб дымка слепого,
рассеет!

Или испарит,
как
росу!

И разом сотню бед
твой меч горазд свести на нет,
оставив лишь для мифов повод.

Так,
на незримой и неслышной
цепи,
вы оба, ты и меч,
народ свой будете стеречь
от бед,
во всём их многострашье.

И также знать тебе не лишне,
что оба вы с теченьем лет
ничуть не будете дряхлеть,
лишь станете прямой и краше.

Но если только капля крови,
людской, конечно, не иной,
вдруг запятнает твой клинок –
ржа в этом месте зарыжеет.
Бороться с нею, прекословить
что заклинаньем, что мольбой
напрасно.

Миг спустя,
рябой
поникшей мертвой птичьей шеей
покажется на вид оружие
чудесное,

а ты,
при ком
оно –
невзрачным стариком,
топорщащим седые брови.
Вот что за пару обнаружит
столпившийся на крик народ...
Сей неминуем поворот, –
запомни, -

если капля крови...

СВАТОВСТВО БАТАВА

Поэма

Памяти Анатолия Бармина

1.

- О римлянка, не щурься зло и гордо,
а улыбнись угрюмому батаву –
как будто кабаниху на загорбке,
принёс я к твоему порогу славу.

Ты озираешься: мол, что творится? –
Ведь только-только рядом был Октавий!
Жаль, улетучился, как пар, патриций –

я спутников своих хочу представить.

Вот Хаброк, меч.

Мой неразлучный друже
во мраке ножен грезит час за часом,
как ястребом над полем битвы кружит,
красуясь красным каплющим окрасом!

Вот верный Альсин.

Злится, землю роя,
стоять на привязи гнедому – пытка.
Ему б домчать до вражеского строя
и врезаться,
окровянив копыта!

В железный наш союз войди четвертой.

Ну, что же ты?

«Согласна!» - молви звонко
и поклянись без всяких там увёрток,
что явишь сына, посильнее львёнка!

Молчишь?

Знать, растерялась, как в тумане.
Коль так, прими-ка, словно факел, правду.
Нет, страсть меня не жжёт и не дурманит,
нет, десять кубков я не выпил кряду.
Нет, нас с тобой сегодня свёл не случай,
а Вотана загадочная воля.
Я был в Вальхалле,
над багровой тучей.
Был мёртвым.
Но теперь, гляди, живой я!

Не бойся – я клинком лишь палец трону.

Вот видишь, кровь моя алее алой...

Присядь, чтоб не свалиться под колонну,
когда услышишь, какова Вальхалла.

2.

Да, всю, как есть, бурлящую лавину
тех смертных впечатлений помню я.
Но – по порядку.

Утречком невинным
на дне поросшей буком котловины
парфяне – да несметней воронья! –
нас окружили.

Вопли, лязг и всхрапы
выплёскивались аж за горизонт!
Стволы смещались,
в красных сплошь накрапах!
Я за день был раз тридцать поцарапан

и на закате, наконец, пронзён.

Но умер ночью, а верней – под утро,
когда над лесом посерел восток.

И девы,

льдистоглазы, меднокудры,
крылаты /не обозные лахудры/,
меня с земли подняли – как листок.

И понесли – всё выше, выше, выше...
Мне ль не смекнуть: куда, по воле чьей?
И хоть я был к полётам не привыкший,
однако ж разглядел, каковский вышит
узор у каждой девке на плече.

Потом вокруг всё враз побагровело,
хотя заря ещё не занялась.
И на багровом – вспышки то и дело...
И я глядел, не скрою, осовело
на вспышек тех разгульный перепляс!

Но вскоре лишь багряные волокна
виднелись в небе, чёрного черней.
К булыжным грудям /старая уловка/
прижав мои окованные локти,
валькирии застыли в вышине.

Внизу, по туче, вспышками взогретой,
текла невероятная река –
без устья да и без истока где-то,
огромнейшим казалась мне браслетом,
тягуче-ярким, сплюсненным слегка.

Ярились волны – как из жаркой плоти,
как рыжий, впавший в бешенство табун!
Внутри – по солнцу,
а снаружи – против.
они стремглав неслись, назло природе!
Название – Тунд,
а надо б, видно, - Бунт.

И окольцован этим Тундом-Бунтом,
гудел чертог,
сплошь в бликах золотых!
Да не чертог, а город!
Но – как будто
кто сгрёб строения и, перепутав,
их вновь поставил наугад впритык.

Ни улиц, ни манежей, ни фонтанов,
ни площадей, ни лестниц, ни дворов,
ни травки, ни единого платана...

И ствол стоял толстенный, не колышась,
и был ошкурен чисто ближний бок,
и в нем – ступенью – вырублена ниша.

В ней –

 будто бы естественно возникший
из сердцевины –

 и сидел он, бог.

Лик – не приветливый и не спесивый,
скорей, бесстрастный, будто на века
сработан из морёной древесины.

А кудри с бородой – дремуче-сивы.

Но, в общем-то, не хилый старикан.

И встали мы пред ним, чтоб разобраться...

Вдруг резко: «Карр!»

 Как тюкнули меж глаз!

Я вздрогнул,

 и ругнулись девы вкратце,

и вздыбились загривки серых братцев,

и льва башка со стенки сорвалась!

Он, ворон, каркнул – в глотку ему чирей! –
с безлистой голой ветки.

 Величав,

надменен даже, будто бы в порфире,

сидел он выше локтя на четыре

хозяйского морёного плеча.

И Вотан с удивлённой краткой фразой
свой лик суровый вскинул к вещуну:

«Ошибка, говоришь?»

 И волки разом

вдруг порьжели взглядом и окрасом,

носы уставя тоже в вышину.

И девы... показалось отчего-то,
что я держу обеих на весу.

«Баб побоку!» - решил бесповоротно

и, налегке, шагнул вперед: «Хэй, Вотан!»

Чего бояться было мертвецу?

Заметил, как в усмешке углублённой
раздвинулись древесные уста:

«Гляжу я, ты из самых забубённых.

Скакать, рубиться, подминать бабенок,

короче, жить – нисколько не устал.

Не удивительно: мертвец ты мнимый.

Валькирии ошиблись /ворон прав/

и нынче ж распрощаешься ты с ними

надолго,

 там, под кронами земными,

посредством серых братьев хворь поправ.

Ты будешь жить, как жил /хотя твой статус
весьма поднимется, стряхнув вшивьё/
до встречи с той,

 что красотой и статью
легко б затмила лучшую из статуй
Венеры или как там, бишь, её?»

Тут Вотан бровью чуть повёл корявой –
и это был, как видно, девам знак.

Меня вновь подхватили слева, справа
и вновь по залам,

 над хмельной оравой,
я быстро полетел, как в детских снах
/влекомый на сей раз довольно грубо/...

И вновь сквозь стену –

 Будто бы сквозь дым.

«Будь богом я, - подумалось мне глупо, -
батаву я б в дорогу подал кубок
с зело зазывным зельем золотым!»

Дорога вниз мне показалась длинной,
я даже малость, помнится, скучал...

И вот над той же самой котловиной
мои валькирии вполне орлино
застыли в первых ласковых лучах!

3.

Тут к месту будет сказано, что девы
крылатые бескрылых погрубей.

Ведь с высоты раскидистого древа
меня /как будто я – куль отрубей/
швырнули наземь так,

 что, пусть на время,
но вышибли из тела напрочь дух!

Когда ж очнулся – дев забыл,

 бодрея

от близости волков матёрых двух.

Как тщательно, с каким усердьем рьяным
два поседелых по ости врача
мне многие зализывали раны
при этом жёстким мехом щекоча.

И оттого всё завершилось дико:
батав бессильный, бездыханный, без-
надёжный поначалу захихикал,
потом заржал вовсю, как жеребец!

что форсировали вброд,
меня назначил вдруг центурионом
тогдашний император-сумасброд.

Через год,
уже на берегу Евфрата,
что только что был щедро обагрён,
другой
благоразумный император
мне отдал под начало легион.

Три года я провоевал легатом.
И, хоть тогда уже владел пером,
по сути, оставался небогатым,
незнатным, ненарядным дикарём.

И ныне пурпур там иль позолота –
не для меня и моего коня,
и моего меча,
Вот оттого-то
сенаторы косятся на меня,
префекта нового преторианцев,
чьё имя где-то в чащах и средь скал
у мрачных ожелезненных повстанцев
вмиг вызывает яростный оскал!

Да что мне эти туши из сената?
О них бы я не вспомнил, хоть убей,
Когда б не разглядел у колоннады
тебя,
не обратился бы к тебе...

Ты та,
кого мне предназначил Вотан
в Вальхалле золотой, пять лет назад.
Ну?
Сделай шаг ещё навстречу...
Вот так.
Сколь дивны эти римские глаза!

Теперь садись в седло –
его я вытер.
Сегодня ж справим свадьбы мы,
пышней
сенаторской...
А Вотан и Юпитер
за нас пусть радуются в вышине.

взмутив чуть свет мышинный быт,
а также тараканий.

Он шил,
старателен и тих,
из бархата камзолы,
штаны из лоскутов цветных
для бушей развесёлых.
Шил шубы из звериных шкур
для местной власти тучной.
Шил скопом саваны и, хмур,
шил гульфики поштучно.

Он шил при солнце и свечах,
безропотен, как ослик.
Он над своей работой чах
неделями.

Но после
он покупал кулёк халвы
и дюжину бутылок
и говорил: «Пошли-ка вы...»
всей слободе постылой:
сапожникам, другим портным,
старьёвщикам картавым,
грозе их, стражникам смурным,
довольным костоправам,
чеканщикам и кузнецам,
могучим, но чумазым,
захожим бледным чернецам,
ворам /порой в алмазах/
комедиантам, мясникам,
супружницам практичным,
их чадам,
чей всегдашний гам
перекрывает птичий.

Вот так,
с отвагой кой-какой
и кой-какою дурью
послав не очень далеко
всю слободу родную,
он шел домой /на вид шальной,
как будто бы контужен/
и запирался на стальной
большой засов.

И тут же
швырял оставшуюся ткань
в беззубый зев камина
и первый выпивал стакан
с довольно постной миной.

Но со второго у него

чуток теплели щеки.
С четвертого же – заревой
румянец – да широкий! –
цвёл у Гаспара на щеках,
цвёл даже диковато...
Ну, а с шестого – ещё как
пылали щёки хвата!

И всё же был стакан седьмой
заглавным для Гаспара –
тут он, в быту полунемой,
вдруг превращался в барда.
Да, да! Молчун и домосед,
к тому ж ещё гундосый,
он после выпитой в присест
впрямь лошадиной дозы
вдруг громогласно запевал!
Как Ричард с сердцем львиным!
Как у скалы девятый вал!

От песенной лавины
срывались с чёрных труб коты,
а псины жались к стенам
и лаяли до хрипоты
не злобно, а смятенно.

Соседки, пленницы утроб,
спеша на ближний рынок
с мечтой о свежей спарже,
об
окорочках куриных,
всё ж замедляли малость шаг
у окон баламута
и чепчиками в кружевах
покачивали мудро:
«Какой ни есть мастеровой,
без женского присмотра
он одичает до того,
что превратится в монстра!
И наш Гаспар тому пример,
наглядней не бывает.
Поет! Вопит, сказать прямей,
и даже завывает.
Такое пенье кстати лишь
в час мирового мора.
Но диво ли? –

Большой малыш
без женского присмотра...»

Соседи ж, те, кому пришлось
шагать близ громких окон,
усмешками гасили злость:

«Да надо ж выпить столько,
чтоб так запеть, так затянуть –
как ветер зимней ночью!
К тому же петь такую нудь,
к тому же – в одиночку.
Нет, чтобы земляков позвать
на рюмочку кагора.
Мы б, разобравшись, кто чей сват,
глядишь, и спели б хором.
И стал Гаспар бы чтим и мил
без всяких экивоков...»

Услышав это б, нахамил
в ответ наш выпивоха.
И хорошо, что на дому
с капризностью дитяти
внимал он только одному
себе –
с восторгом, кстати.

Да, да! Гаспара пьяный взгляд
блестел в слезах незорко –
не вследствие больших утрат,
а вследствие восторга.

Вот так, не отирая слёз,
восторженных, сладчайших,
багряный дар зеленых лоз
из потемневшей чаши
за разом раз, за разом раз
душой всей принимая,
он пил и пел.

И, расхрабрясь,
таскаламышь немая
халву из-под стола в нору –
мелькал лишь шустрый хвостик.
И мухи на таком пиру
вели себя как гости –
и угощались, и, жужжа,
Гаспару подпевали.
Однако дружеский их жар
он ощущал едва ли.

Ему б примолкнуть,
встать к окну
иль прикорнуть на ложе –
нет, не желал передохнуть
и полчаса.

Но всё же
порою звучные слова
переходили в клёкот,
и опускалась Голова

на левый легший локоть.

Он засыпал.

Во сне храпел
да мощно – словно мамонт!
Проснувшись, снова пил.

И пел,
и всё о том же самом:

о подвигах могучих паладинов
и о любви высокой, лебединой...
о заповедных несказанных кладах
и о конях, размашисто крылатых...
о скальной нерушимости обетов
и обо всём,
что сквозь века воспето.

2.

Так пел и пел чумной Гаспар в насад:
то с вызовом, то страстно, то державно...

И если б тот, что тридцать лет назад
здесь –

 права в Палестину –
 задержался,
тот, что тогда был дьявольски хорош:
румян, наряжен, на коне атласном,
тот, кстати будет сказано, ни в грош
не ставивший портняжек,
 тот, что властно
с дороги пыльной подхватил,
 склонясь,
и рядышком с собой в седле пристроил
ту – краше самоцветов,
 что от нас
в земных кромешных недрах прячут тролли...

О страсть,
 ты налетаешь напрямик,
бестрепетную кровь взбурлив мятежно,
и отлетаешь,
 наделив на миг
неизъяснимо сладостной надеждой!

Да, если б тот, увы, седой,
одышливый и слишком дальнзоркий,
тот, роющийся в манускриптах до
полуночи,
 порою же – до зорьки,
тот, длинным опоясанный мечом,
приор в плаще с крестом кроваво-алым,
тот, для кого поспорить нипочём

и с римским папой,
и с библейским Павлом,
тот, про кого с оглядкой говорят:
к великому магистру, мол, всех ближе,
мол, в роли верного поводыря,
хотя магистр на зренье не обижен...
Короче, если б вождь тот теневой
узрел внезапно бедного портного
и в нем признал бы сына своего
/пускай внебрачного, но всё ж родного/
то, выветрен порывами судьбы
и выжжен жаром споров, битв и оргий,
храмовник старый усмехнулся бы
усмешкой снисходительной и горькой
и отвернулся б с возгласом: «Коня!»,
дабы не слышать,
как его сыночек
поёт,
хмельную голову клоня,
поёт,
наивней прочих одиночек —

о подвигах могучих паладинов
и о любви высокой, лебединой...
о заповедных несказанных кладах
и о конях, размашисто крылатых...
о скальной нерушимости обетов
и обо всём,
что сквозь века воспето.

3.

Однако та, что родила певца
когда-то /кстати, ночкой соловьиной/
так и была по сути до конца
с ним скреплена незримой пуповиной.
Да, с первых куценьких шажков под стол
и с первых же проказ, обид и ссадин
была с сыночком заодно и столь
самозабвенно, истово /к досаде
родни,
которой нравилось учить:
мол, для тебя важнее нет задачи,
чем поскорей в мужья заполучить
вдовца,
притом, конечно, побогаче/.
Увы! Иных, нематеринских чувств
не наблюдалось в ней определённно.
Вот разве сына первая влюблённость,
та, глупая /но не глупей ничуть
последующих/ ей переживалась
почти что как своя...

И диво ль то.
что и посмертно не отмежевалась
она от незадавшейся, простой
сыновней жизни...

В райские те кущи
душа её не унеслась, легка,
а – здесь осела,
растворилась в сущих
явлениях, что вблизи её сына.

И потому-то на оконной раме
смола блестела светлую слезой,
и возносился потолок, как в храме,
на стыках вспыхивая бирюзой,
когда,
качая головою гиблой
и косо открывая горький рот,
Гаспар уже выкрикивал лишь хрипло...
А чудилось ему, что он поёт –

о подвигах могучих паладинов
и о любви высокой, лебединой...
о заповедных несказанных кладах
и о конях, размашисто крылатых...
о скальной нерушимости обетов
и обо всём,
что сквозь века воспето.

ОТБОР

Диалоги

И. Л. Вишневской

Вот золото. Возьми. И хорошо запомни:
истратишь хоть дукат на рейнское и шлюх,
велю оружие сдать и в глушь, в каменоломни,
а то и сельдерей выращивать пошлю.
Все, повторяю я, должны быть все пригодны
Для наших тайных дел. А что они за сброд
и где ты их найдёшь – в харчевне, в преисподней –
не важно.

- Понял я.

- А понял, так вперед.

1.

- Послушай, Ты, красавчик!
Не дуйся, обалдуй.

Средь рылец пороссячьих
твоё – ну хоть целуй!
Нос, правда, малость набок,
как сапожок точь-в-точь.
Но ты ж, гляжу, не баба?
Однако шутки прочь.
Скажи нам без утайки
про матушку свою.

Хорошая хозяйка
иль бросила семью?
Голубила иль била?
Учила ли? Чему?

- Она меня любила.
Да так, что самому
епископу седины
повырвала б, визжа,
за волос мой единый...

- Хорош, на меч мой ржа!
Поди сюда, встань рядом,
а мордой к остальным.
Пред вами, поросята,
Зверь, злее сатаны!

2.

- А ты, сдается, вшивый.
Нет? Так чесаться брось!
И без вранья да живо
Ответь на мой вопрос.

Под материнским зорким
надзором как жилось?
- Как? Хорошо.

- Ни порки,
ни крика и ни слез?

- Бывало, ухо рдело,
не выдрано едва
с корнями. Но – за дело.

- Выходит, баловства
мамаша не прощала?

Костиста и строга,
Карала без пощады
Бездушная карга.

- Ну, нет! Когда хворал я,
живьем в огне сгорая,
то мать, вся истончась,
молила что ни час:
«Яви, Всевышний, чудо,

даруй сыночку жизнь...»
- Да ты, гляжу, зануда.
В сторонку! Там чешись.

3.

- Ух, как насупил брови!
Расхристан и космат...
В кого такой суровый?
В отца? А может, в мать?
И может, меч и шпоры –
не фартук и черпак –
пришлись суровой впору?
И мать твоя в сердцах
рубилла, как для фарша,
соседушек своих?
- Будь я тогда постарше,
сам изрубил бы их!
Они, соседки-лгуньи,
сбежались в магистрат:
«Мол, Марта в полнолуние
готовила экстракт
из старческого кала
да жабьих потрохов
и порчу напускала
на наших петухов!»
И хрыч из магистрата,
минуты зря не тратя,
витую трость простёр:
«Колдунью на костёр!»
А мать была весёлой
могла весь вечер петь...
- В репьях пола камзола
и на плече репей!
С таким неряхой рядом
кто встанет? Ни один.
И ссора с магистратом
к чему нам? Уходи.

4.

- И где ты был? В отхожем
местечке за кустом?
Гляжу, умыт, ухожен,
Упитан и притом
глаза, как у налима...
Услугу окажи:
о матушке родимой
нам малость расскажи.
- Пусть я не синеглазый,
пусть я не голубок,
но матушки наказы

я помню назубок.
«Старайся всюду, Ульрих, -
наказывала мать, -
жилет, штаны ли, гульфик
не пачкать и не мять.
Одежда стоит денег.
И кто не лоботряс,
тот даже стёртый пфенниг
отложит про запас.
Старайся, Ульрих, также...»
- Довольно, замолчи.
Я знаю, что ты скажешь.
... мол, ноги не мочить,
беречь здоровье паче
достоинства... девиц
и дурней околпачить...
пред властью падать ниц,
хотя и кровососы...
Всё верно, говорун?
Встань рядом с кривоносим.
Ты тоже ко двору.

5.

- Что тянешься, повыше
казаться норовя?
Пусть ростом ты не вышел,
зато уж здоровяк!
Небось, не знал про гланды,
быка съедал в присест?
Какой румянец, гляньте!
Рубин! Рубин как есть.
Знать, матушка огранку
вершила и блюла...
- Мамаша спозаранку
вертелась как юла.
Сестра, четыре братца,
пёс, кенарь, кот, коза...
всех накормить, прибраться...
- Прочь, дурень. Прочь, сказал!

6.

- Гляди, разулыбался!
Что, шибко боевой
и нынче отдубасил
папашу своего?
Но речь про драки – после.
Сейчас – про матерей.
Рассказывай скорей.
Ну? Не упрямясь, ослик.
- Рассказывать? Да лишне.

Что мать? Была она
Всегда бледна, неслышна,
так – пятая стена.
Отца же тронь, мгновенно
огреет меж рогов
кувшином иль поленом –
что под рукой...

- Ого!

Вставай смелее в ряд наш.
А с батей познакомь.
Сдается, с ним приятно
судачить за пивком.

7.

- А ну-ка, белобрысый, -
про мать за пять секунд!
Прощала ли капризы
любимому сынку?
Иль уши часто драла,
суровою была?
- Мать, помню, повторяла:
«Не жизнь, а кабала.
Вот у соседки Эльзы,
худущей, как глиста,
не жизнь, а эдельвейсы...»
- Отлично! Рядом встань.

8.

- Ну, ты и долговязый!
Кинжал, гляжу, на ять.
И вкраплены топазы,
сдаётся, в рукоять.
И пёрышки плюмажа
чудны, как у посла...
Твоя, дружок, мамаша
Навряд ли коз пасла!
Клянусь, в доме богатом
ты вымахал такой...
- С нечёсаным вагантом
сбежала мать тайком.
Бог с ней! Была красивой
и доброй, за меня
всегда отца просила...
- В сторонку, размазня!

9.

- Ты рыжий или медный?
И не моргнёт. Вот нрав!
Стоит себе, надменный,

как в панцире маркграф.
Стрела из арбалета
отскочит тут, крошась...
Кто пестовал, поведай,
такого крепыша?
Узри нас, сделай милость,
и молви два словца.
- Мать день-деньской клеймила
молчальника-отца.
Мол, большего уroda
не встретишь, век живи.
Мол, что, дурак, ни продал,
всегда продешевит.
Мол, если жрёт объедки
под стол летят всегда.
Мол, сохнет по соседке...
- Тебе, брат, не сюда.
Тебе на дальний остров,
где сборище макак.
Спаси нас, Бог, от монстров,
Мы люди как-никак.

10.

- А ты что, как побитый,
укрылся за чужой
спиною? Ты – подкидьш?
Что, угадал, дружок?
- Нет...
- Нет? Тогда не мямли,
а громко, как герольд,
нам известить изволь
заслуги славной мамы.
- Она... Вот так же – пташки.
Ведь с первым же лучом
они, Бог весть о чем...
- тебя, мой милый, тяжко
понять. Чуть свет, похоже,
болтала мама?
- Да.
- А в полдень?
- В полдень тоже.
- И вечером?
- Всегда.
- И как отцу сорочий
весёленький уют?
- Сбежал отец.
- А отчим?
- Три отчима тю-тю.
- Есть, стало быть, четвёртый?
- Ага. Глухой Альфред.
- Считаю папаш и впредь!

Всех сырых вплоть до чёрта!
Ох, ржа на меч... Утробу
Свело аж... Но как быть
с тобой? Возьму на пробу.
Сюда! Иль впрямь побит?

11.

- Так. Твой черёд, кудрявый.
Кто матушка твоя?
Веселого ли нрава
иль сущая змея?
Соседских кур травила,
Болгала ли взахлёб?
- Не помню. Помню, выла
собака. Помню гроб.
Потом закут дерюжный
я помню у родни...
- Кота в мешке не нужно.
В сторонку отойди.

12.

- Глядишь ты наглогато,
клешни упер в бока.
У эдакого хвата
и мать, поди, бойка?
Ну, как она радела
о сыне, поделись?
- Зудела то и дело:
«Не бегай, не дерись,
не бражничай, не щупай
служанок, не воруи...»
Что ждать ещё от глупой?
- Сюда! Ты – ко двору.

13.

- Ты ёжик. Право, ёжик.
Не злись. Хорош, хорош.
Не ёжик ты и всё же
на ёжика похож.
Но к делу. Вечереет,
А мы – ни по глотку...
Давай-ка побыстрее
нам, тёмным, растолкуй,
кто мать твоя родная?
Как о тебе пеклась?
Ну! Быстро! Без прикрас.
Что ж ты молчишь, каналья?
- Я думаю...
- Башкою

иль чем?

- ... о том, что мать,

какая есть, такую
и должно принимать.

Пускай умом убога,

Пускай лицом дурна,

Но милосердным Богом

Мать каждому дана.

И ПРОМЫСЕЛ Господний

затрагивать не здесь.

Уж лучше встать в исподнем...

- Да кто такой ты есть?!

- Пошел я.

- Толай, толай!

Вот где он, твой скулёж!

На что нам низколобий

вонючий робкий ёж?

Да у тебя от чиха

поджилки задрожат!

И мать твоя ежиха,

и сам возрастишь ежат!

14.

- А что ты смотришь косо,

как на прелата жид?

Знай, моего вопроса

никто не избежит.

И знай, что здесь торчу я

не всеу, ржа на меч!

Кто мать твоя? Ворчунья

иль жаждет с каждым лечь?

Лупила иль ласкала?

Смелей! У нас без тайн.

- Мать руки распускала,

пока я был слюнтяй.

Но скоро костоправа

к ней звать пришлось родне...

- Моей рукою правой

ты будешь. Ты – по мне.

- Мой герцог, говорю, Господь свидетель, трезво:

юнцы для наших дел полночных – в самый раз.

Я отобрал среди них таких головорезов,

что Люцифер в свой ад попятится, смирясь!

Им будет по сердцу урочное закланье,

Их распалит биенье красных струй...

Я на охоту вывожу волчат. В дрожь, лани!

- Что ж, прав ты или нет, узнаем поутру.

ПРОДЕЛКИ ЧЁРТА

фрагмент стихотворной трилогии

Ночь на Волге

1.

Звёзды в полночной черни
Светятся.

Остро маняще –
словно зрачки у монашек
в мае,

После вечерни.
Звёзды зовут.

Но кто же,
кто на красу их польстится?
Смертный, увы, ничтожен.
Даже быстрее птица –
выпуклогрудый кречет
с варежки царской –
не смеет
взвиться туда...

Однако
это не сон /хоть божись/ -
невдалеке, в поречье,
алые рвутся змеи
к звёздам,

поставя на кон
жизнь!

«Алые
шалые
змеи,
тщетны ваши затеи.
Вон ведь,

взлетев лишь на пядь ввысь,
пали на землю опять вы...
гибкие
зыбкие
змейки,
вы ищите лазейки
в затхлый и темный закуток,
чтоб подремать покуда...»

Серый,
да как он смеет

алым давать советы?!
Кратко шипят лишь змеи –
красноречив ответ их.
Ярости трата пустая
в большую ярость приводит.
И извиваясь, сплетаясь
в ярком хмельном хороводе,
снова,
 и снова,
 и снова
рвутся они исступлённо
с прочного лона земного
в призрачность небосклона!

2.

Это кому ж не спится
в тёмную ночь под кровом?
Кто вокруг костров толпится,
в сумраке мутно-багровом,
в месте,
 досель нелюдимом?

Здесь и казаки-гулёны,
знюем, ветрами и дымом
пороховым дублёны,
острою сталью мечены
от Бухары и Наметчины.

Рядом донцы, запорожцы,
ходят, глянь, - ровно павлины.
Кум,
 порешив опорожниться,
пояс широкий да длин-н-ный
разматывает, свирепея
/Ай да чалма у бея!
Была - словно снег, бела...
И голова - была/.

В зыбкости быстрых отсветов –
будто бы алые жала...
Это же блеск самоцветов!
На басурманских кинжалах,
саблях, пищалях, пистолях...
Жала – алы и яры!
Сшиты из радуги, что ли,
яркие шаровары?
Их одолжили /на время/
В душном визжащем гареме...

Еле поднялись – в обнимку –
два оселедца сивых.

Все хмуры,
брови у всех нависли.
Дымом клубятся бурым
бороды их и мысли.
Жмутся друг к другу поближе –
будто друг в друге уместятся.
Зелье ли, страх ли колышет
их бердышей полумесяцы,
блещущие раз за разом
алым окрасом.
Страх!
 Да пред кем?! –
 Ярыжкой!
Только к ним шасть пролаза –
прочь все!
 Гляди, вприпрыжку!
Будто бы от проказы...

5.

Здесь и ярыги.
 Патлы
слиплись.
 Слюнявы, щербаты,
сгорблены – час до смерти...
Только глазам не верьте.

Выдюжат все побои,
бейте их хоть дубиною.
Бросьте их в чан помоев –
вынырнут по-утиному
с ржавой – в зубах! – полтиною.

Эти и нынче случаю
рады и не моргают.
Скользкие и колючие,
словно ерши – сигают.
Мимо казаков –
 с заминкой,
мимо стрельцов –
 с прищуром,
мимо холопов –
 как мимо
чурок.

6.

Здесь и...
 Бог весть, что за люд.
Вон, забредя в валежник,
по-человечьи блюют
двое в шкурах медвежьих...

7.

А пред костром порасселись
идолища в малахаях.
Медные скулы, аж в зелень.
Узко глядят, не мигая,
как устремляются кверху
алые змеи упрямо.
Сами же –
 будто от веку,
будто вокруг их рама –
замерли.

 И – ни звука.
Дышат-то хоть едва?!
Замерли – словно их луков
выгнутых тетива...

8.

Ходят с веселой приглядкой
парни.

 Кафтаны сносные,
редко темнеют латкой,
и сапоги курносые.
Внове им, видно, оружие,
жесты, слова залихватские...
Мирные.

 Правда, снаружи.
Кто же они?

 Посадские?
Глянь, отыскали дело:
хворост бросают смело
змеям злым на потребу,
пуще чтоб рвались в небо.

Эк расстарались молодцы!
Пусть за молодцев молятся
матери –
 черной полночью
хворост скормили полностью...

9.

Впрочем, беда то – минутная.
Глянь, без зримых подпорок
движется горка смутная.
Следом – с десятков горок!
Это ж вязанки большущие
хвороста...

 «Братья, ура!»
Резво их тащат, знать, сущие

богатыри...

У костра
смерд подсобил уж переднему
снять свою ношу ладом.
Как удалось допереть одному
Столь на горбу жидковатом?

Вот и остатних встретили,
снять подмогнули ноши...

Кто же они, радетели
ярых костров,
вознёсших
алость ещё на пядь?
Что гомонят – не понять.
Снова, похоже, за хворостом
двинулись...

В справной оде́же.
Коли взглядишься, вокруг ворота
да и на полах тоже
тёмный узор змеится...
Но на ногах – лишь земляца.
А ведь рысцей поспешали
с кладью!

И снова, босы, -
в темень лесную,
где осыпь
сучьев да шишек...
Жаль их.
Жаль, будь хоть чудь, хоть мордва.
Отдышались едва...

10.

Ну, а кто сей челове́че?
Блеет себе по-овечьи.
Дурень или просто весел?
С лисьим хвостом вокруг чресел.
В княжеской епанче –
искры играют в парче! –
и с лопухом на темени.
Знамо, без роду, без племени.
А веселится, приبلуда...
Много здесь всякого люда.

11.

Всех же поболее здесь беглых
барских холопов,
быдла.
Жизнь-то им что не обрыдла?
Кажется лучше бы – в пекло.

Блѣклым, таким бескровным –
от вурдалака ровно.
Их зипуны с прорехами,
лапти в грязи размочалены...
Но веселее всех они,
всех шумней и отчаянней!

Тот хотя б мужичонка
в очереди у бочонка:
тощий,
 ребячьего роста,
плечи,
 словно у пугала –
прямо торчат и остро.
Жила на шее взбухла,
а всё никак не уймётся:
тянется вверх,
 сквозь кашель
что-то кричит,
 смеётся,
далям кулак свой кажет...

12.

Катят ещё бочонки.
Тать страшный и нищий,
кроя в душу, в печёнки,
им вышибают днища.
Кружкой, шапкой, лукошком –
пьют.
 Больше льют, однако.
Крик прорезался: «Прошка!
Проша!
 Спляши, собака!»

Прёт на версту от Проши
пряным душком сивухи,
за ухо ус заброшен,
с бублик серёжка в ухе!

- Братъя, раздайся!
Шире круг!
- В сполохах даль вся...
- Лей в треух!
- Шире!
 В обнимку...
- Проша, всклень...
Духом одним, кум!
- Али лень?!
- Ровно стоялый
коренник!
- Очи-то...

Алый

отблеск в них!

- Оземь кручину

шапкой вдарь!

- Эх, для почину...

- Бей бояр!

- Прощка – по кругу,

ой-лю-ли!

- Саблю-подругу

оголи!

- Блещет, что солнце!

- Испляши

душу до донца!

- Бей...

- Якши!

- Искры аж выбил!

- Ну – гепард!

- Кроушки б выпил...

- Бей бояр!

- Братья, что любо...

- Хрен те в ус!

- Проша. Голуба,

хошь – убьюсь?!

- Али стреножен?!

Сыпь! Кромсай!

- Сабля без ножен –

и-и, краса!

- Лапоть, не суйся!

- Кум, испей...

- Прощка! Змей!

- Через костёр-то?!

- Ух, как яр!

- Лик – будто чёрта...

- Бей бояр!

13.

Удаль – та же зараза.

Только к бочонку Прохор –

в круг прорвалися разом

смерд и два скомороха.

Ай да мужик!

Он кружит

птицей,

сермяжной вьюгой...

И – языки наружу –

дразнят шуты друг друга.

Больше который,

Рыжий,

пнул меньшого что силы!

Тот кувыркнулся трижды
и – на плечах верзилы!
«Кукареку-у! – как с насеста. –
Влазьте!

Всем хватит места:

курвам-курам,
петушку,
лисам бурым –
пасть в пушку,
молодцу с Алёною,
с булавой калёною!»

Рыжий, было сомлевший,
крикнул: «Цыц, мелкота!»
Скорчил рожу – впрямь леший! –
и малыша,

что ката,

сбросил шутя с загорбка:
«Очи разуй, Егорка!
Булава-то, булава,
булавою миг была.
Стала бестолковою
полою половиною!»

14.

Хохот.

А тут вприпрыжку
дьяк – что козёл на пасху.
Глянь!

И – бочком – ярыжка
тоже пустился в пляску.
Дробно,
с ушлой увёрткой,
с сиплой скороговоркой:

«Ах, комар, комар, комар!
Повадился в закрома.
Солонину ел и хлеб,
телом очень окреп,
и на взлобке, у дубка,
забодал комар быка,
пастуху накостилял
да бурёнок огулял!
Ах, комар, комар, комар!
Впрок пошли ему корма».

Дробь тут позаковыристей
выдал ярыжка смело.
Сам-то, поди ж ты, вырасти
и окрепнуть сумел он!
Вот и второе чудо:

вынул рожок ниоткуда
и, подбоченясь, что княжич,
выставив ногу – знай наших!
щёки кругля,

ну, точно
яблоки с червоточиной,
вдруг перелив влекущий
выдул!

Кудесник суший!
После зачина столь знатного
снова запел отвратно он:

«Дует лисонька в рожок
у большого камушка.
Гуси, гуси, все в кружок –
угощает кумушка.

Ой вы, гуси-гагачи,
лапки раскаряченьки! –
С пылу, с жару из печи
пирожки горяченьки!

Ах, как нынче стол богат
у кумы усатенькой!
Ешьте, гуси, - га-га-га! –
Пирожки с гусятинкой».

15.

Ба! И чудной приبلуда
выскочил в круг обалдело.
Знать, и убогого удаль
за живое задела.
Вон как взмахнул епанчой-то –
словно крылом Жар-птица!
Он, сдаётся, в два счёта
с грешной землей распротится
и упорхнет осияно
в сказку,

в вотчину чуда...

Но завидовать рано.
Ибо с придурком худо –
шмякнулся.

Захмелевший
или падучей подверженный?
Но лопух-то на плечи,
глянь, и лёжа придерживает.

Встал показав –
простим его,
знамо, пустоголовый, -
будто себя, родимого,

поднял за ту ль полову.
Снова взмахнул епанчой,
засеменил вкруг юрко...
Нет, не поймёшь нипочём,
что на уме у придурка.
Взвизгнул и –

словно вкопан.

Но – лишь одной ногою.
Ибо с цыганским прихлопом
взбрыкивает другою.
Вроде бы, пляшет?

И в раже,
слышь-ка, запел.
Туда же!

«Как у девки Евдокии
всё не в лад и невпопад.
Шла на поклоненье в Киев,
а попала под попа!

Прыг да скок, прыг да скок!
К сапогу, видать, присох
Ох, да не жучок раздавленный –
Грех многопудовый давний.

Как Иванушку маманя
породила на авось.
Поглядит – чертог в тумане,
подойдет – горой навоз.

Прыг да скок, прыг да скок!
К сапогу, видать, присох
Ох, да не жучок раздавленный –
Грех многопудовый давний».

16.

Глянь-ка!
Ещё три холопа
соколами обернулись –
вылетели!

С прихлопом
встречь цыганёнок.

Ну, лих!
Ну, оборванец, буен!

Гулко ударил бубен.
И под мерные гулы
Двинулись в круг,
горланно
упомянув шайтана,
несколько медноскулых.

Пляшут,
 раскрылив полы,
дёргаясь, как от огня...

Вдруг на свет полуголый,
куцею цепью звеня,
вымахнул росوماхой!
Затопотал, завопил!

Крайний стрелец с размаха
в пень свой бердыш вонзил!
Бледный, с щеками впалыми
да с очами-опалами,
ворот рванулся неистово!
Крестик, лоскут и прядку –
в темень,
 к славе нечистого!
Сам же айда в присядку!

А над его головою
вдруг распростёрся совою
поп.

 Да ученый поп –
прыгнул, а после: «Гоп!»
Но не в ладу, знать, с адом
бывший хранитель храма.
Не устоял и... задом
на головёшку прямо!
Взвился /повыше прыжок/ -
видно, порты прожёт...

Вот раздышались, кажется,
и стрельцы остальные.
Глянь, бердыши стальные
в землю воткнули –
 как саженцы.
И, закончив посадку,
в пляску пустились скопом.
Кто – волчком,
 кто – вприсядку,
кто – с распашным прихлопом...

А из багровых потёмок,
дудки достав из котомок
и держа пред устами,
будто бы ветки с дроздами,
засеменили калики –
сухи, иконнолики...

Эх, запорожцев пятеро
шапки с голов обритых
в ноги метнули матерно

и – будто в гущу битвы!

Всё, всё взбурлило вдруг
жёлто-багряно-чёрно!
Чёрт затесался в круг –
не замечают чёрта.

17.

Змеи меняют лишь кожу.
Чёрт, он меняет и рожу,
враз, заодно с одежей.
То он – как запорожец –
через костры ну прыгать!
То он – хмельным расстригой –
Скачет,
 уоставясь на бочку,
Как на купецкую дочку.
То он – боярским сыном –
смотрит с презреньем гусиным...

Смерд от неожиданной удачи
то ли смеется, то ль плачет,
к шее высоковатой
тянется –
 пальцы ухватом,
пальцы – чугуны, черны,
судорогой сведены.
Близко...
 Вершок...
 Безделица...

Что ж он?!
 Мычит, да не телится!
Чёрт – уже красной девкой –
заверещал с издевкой:

«Не надо! Погоди! Не сразу...
Да ты никак потух?!
Аль вздумалось натянуть рясу
и праведный клубок?

Аль заришься на кралю краше?
Но хоть волхвов спроси,
пригляднее и краше Маши
нет девки на Руси.

Возьми меня, мой любый, лаской
и чуточку силком.
И вволюшку в ложбинке майской
пасись себе телком.

Уснёшь горяченьким, комолым,

с пыльцою на губе...
Проснёшься же рогатым волом
под окрик: «Цоб-цобе!»

Но пробуждение далёко,
а сласть – придвинься лишь...
Чего ж ты, дурень, волооко
заранее глядишь?

Ты вслушайся почутче, любый:
бессонный шмель гудёт.
Он в сладкие вопьется губы
и выщедит весь мёд.

И станет Маша постной-постной,
как тёзка в облаках...
Ну, обойми, пока не поздно.
Я – сладкая пока!»

Ай, как подолом-то машет!
Знать, не враньё, что все Маши...
Что ж побледнел ты, смердушка?
Чай, пред тобой не смертушка.
Вспомни, кряхтел рядком,
с пикою, как с батожком,
сгорбленный сивый сыч
в немощи вислых усищ...
И – за миг,
на глазах
помолодел казак!
Статен,
усы – как у рыси
/сами собой задралися!/.
А за казацкой пикою
двое ярыжек хихикают,
даже присели маленько:
может, блеснёт коленка?

Сдвинув их,
рыжий стрелец,
словно сквозь лес,
пролез,
встал перед девкой, избычась...

«Геть! Не твоя добыча!» -
тут как тут есаул.
Он стрельца оттолкнул,
стать новоявленной лады
жарким взглядом огладил,
вздумал руками лишь, а
глядь, вместо Маши –

Миша!
Бурый такой Мишутка...

Чёрт, он мастак на шутки!
Отроком вот явился.
И – свят, свят! – раздвоился
на скомороха –
 прыг белозубо! –
и татя, угрюмей зубра.
Вновь стал един –
 коротышкой –
пляшет с башкой под мышкой.
Глазом башка подмигивает,
носом, стерва, пошмыгивает.
Вдруг – видал образину?! –
сморщилась, рот разинув...
Чих!

 И из-под руки
выпала!
 Под каблуки!

18.

Тычут башку, что качан.
А она,
 сгоряча
аж до слез хохоча,
э, да что хохоча –
хохотом клокоча! -
задаёт стрекача!

Как колобок!
 Как ёжик?
Нет, на ядро похоже...
Нет, уже огневой
молнией шаровой!

Вот приутихла было,
но через миг завыла!
И ощерясь по-сучьи, -
выросли зубы, что сучья! –
хватать казака за пятку!
Знай, мол, мёртвую хватку!
Как ногою ни дрыгай –
при тебе всё верига.

19.

Перевертень же короткий
шаткой дурной походкой
меж тумачков слоняется,
к топоту,

в пыль склоняется,
словно крыла нетопыря –
руки свои растопыря!
И отыскал ведь потерю.
Вопль вдруг вознесся: «Поверю!
Хоть в Христа,

хоть в Аллаха!»

И на вопль бедолага
как сиганёт!

Пятерых
встрёпанных пляской расстриг,
добрый десяток стрельцов,
пару ярыг-стервецов,
тата,

донца молодого,
чуди и смердов вдоволь
сшиб,

словно серп – колосья!

И – башку за волосья!

Дёрг! –

Лишь рычит сквозь зубы.

Тут-то хозяин грубый
стал чуток понежней –
пал на колени пред ней,
кровной,

хоть часом сучьей,

после с ноги дрыгучей
за уши,

честь по чести,

сдернул с чоботом вместе.

Встал,

водрузил на плечи,
и чтоб держалась крепче,
сверху по кровной, кудлатой
тресь кулаком,

что кувалдой!

20.

Вкруг же его, окаянного,
змеи,

в который раз заново,
аж пожелтев от жёлчи,
в высь устремляются молча.

Дым,

кустистей бурьяна.

Пыль клубится багряно.

Зыблется небывало –

то багрово, то ало

жаркотекучая мгла...

Куча мала!

Словно страда луговая –
куча мала круговая!
Глянь!

На поваленных чёртом
валятся – сотни счётом –
други разгорячённые,
рты – словно дупла чёрные.
Ходит повальный хохот...
Больно охальный хобот!

Но -

от плеча до плеча
с уханьем раскачав,
чёрт как рванет свой хобот!
Нету его!

Есть чобот.
Жёлтый, с вышивкой синей,
знамо, шибает псиной...

21.

Стала стихать, убывая,
куча мала круговая.

Спрыгнул донец –
как с крыльца –
с шаткой спины стрельца.
Поп на коленках пятится.
Из-под холопов пялится
чей-то округлый глаз:
где, мол, отсюда лаз?
Ящеркой выполз ярыжка.
Знамо, зажата коврижка
в лапе,
а в мокрой пасти
блещет золотое запястье!

Не угадать по плешу
пламенно заалевшей –
кто?

а по гриве репейной
да нагоде питейной
не угадать –
на ком –
выскакал к бочке верхом!

С хохотом вперемешку
крик: «Отпусти! Не мешкай!
Дудочка?!

Слепота!

Дудочка, да не та!
В дудочке сей, взглядется,
прячутся сто младенцев!»
Вот от серёдки кучи –
словно тряпьём,
 окручен
жёлтым лохматым чадом –
по головёшкам катом!
Ладно так перекатывается,
всё ещё отхохатывается...

А продувной скоморох
кривится: ох да ох.
Знать, поприжали маленько
рыжего...

 На четвереньках
кум на простор продирается
и, что дикой, озирается.
Это ж куда годится? –
Месяцем ягодица!
Плат бы какой аль щит?
Мелко казак дрожит,
сроду не бывший трусом.
Юзом уже он, юзом...
Счастье, лопух под усом.

Все поднимаются шатко.
Рядятся: где чья шапка?
Шапками и отряхиваются,
да друг на друга замахиваются.
Вот уже в лужу кумыса
тать повалил черемиса
и придушил, чай, слегка его...

Нет, чтоб того, лукавого!

22.

Всё нипочём ведь аспиду!
Чобот чужой он за спину
бросил –
 прямо в костёр!
Сплюнул,
 губы отёр
и, ни с чего распалясь,
вновь как ударится в пляс!
С присвистом!
 С гиканьем!
 С гарканьем!
С выкриками да с жаркими,
с теми, что сердце подпаливают
стрелами с алой паклею!

Вновь всё взбурлило вдруг...

Ай да чёрт!

Ай да дух!

Руки его проворные –
иль рукава просторные? –
начали тасоваться,
будто их – двадцать!
Ноги его –
при шпорах! –
заколотили пригорок
в нечеловечьей резвости.
Ну – будто топчут крест они!
Будто их – двести!
Благо, башка на месте.

23.

Только башка-то... не та.
Что за черты – ни черта,
трезвый, не разберёшь.
Глянешь – прохватит дрожь
вдоль по хребту,
морозная.
А ведь не столько грозная
внешность,
сколь безобразная.

Щёки, взглядишься, разные.
Правая – с русым усом,
язвой и, знамо, гнусом,
бледная-то, пребледная...
Левая – гладко медная!
Чай кипятит хоть в ней!
Зенки – того чудней.
Правый – озёрцем круглым.
Левый – щёлкою с углем!
Мнится, прожжёт насквозь!
Нос...

Оторви да брось!

То ли кривой,
то ль курносый,
то ль его жалили осы,
то ль это вовсе не нос,
а под шумок произрос
овощ в сыром промежутке...
Ох, эти чёртовы шутики!

24.

Но нашутилось, вроде,
дьявольское отродье.

Стало собой, наконец:
Хвост в тринадцать колец
и на исходе сей дюжины
в шустрое шильце зауженный!
Клином залысины,
 рожки
козлика,
 из одежды –
только лишь кучерявость...
В общем же – слева, справа ль
глянешь – мужик он ловкий.
Всё-то искусной ковки:
плечи и руки,
 бёдра,
брюхо, поджарое бодро...

Может, кузнец, а не демон,
ведьмочку тискал меж делом?
Так и зачал без венчания
вместо чада –
 исчадие...
Вон и копытца ладные,
даже подковки булатные.
Вдарил копытцем в камень –
брызнули искры снопами!
Серой запахло, мнится...
Всё не угомонится.
Чёрт – впору кликать сваху.
А намалюют со страху!

25.

Всюду есть страха толика.
Малость – душе великой.
Тёмная бездна – в малой.
Лёгкая тень лишь –
 в алой!

Но – если алость поддельная
или ещё не предельная,
или ещё остывает,
лёгкая тень, бывает,
мигом сгущается в мрак...
Вольница пляшет.
 Страх
в душах и здесь обнаруживается,
чёртом наружу выуживается.

Глянь-ка!
 От вида рожек
в дрожи, в куриной коже
давешний ражий стрелец.

Мнится, чрез миг не жилец...
Попик,
наткнувшись на хвост,
пал – как пронзённый насквозь!
Рот закрестил ярыжка –
вдруг проняла отрыжка.
Смерда облезлый треух –
сам собою, без рук –
зримо подпрыгнул вдруг
серой ледащей лягушкою
над шелестящей макушкою!

Но другой мужичок –
или не верит в чох,
в полночь да в грай вороний,
да и в потусторонний
мир? –
снял зачем-то лапоть
и попёр косолапо
сквозь сумятицу пляски
к чёрту,
без всякой опаски.
Тощий, с плечами пугала,
с задранной кверху, жухлой
/впору поджечь!/ бородкой, -
«Бесе! – кричит, - Сиротка!
На! Прикройсь хоть онучей...»

Сплюнул аж чёрт: «Вонючей?!»

«Бесе! Спровадим бар в ад –
будет тебе и бархат,
будут и соболя!»

Чёрт аж хвостом завилял!

Выкрики,
зубьев злей:
«Вилами, Пантелей!
Заколи его, хлоп!»

Захотал взахлёб
Прошка.
Ну, заливаётся –
аж серьга отзывается!
Очень потешны, звать, Прошке
кольцами хвост да рожки,
да это чудо господне,
что ни в горсти,
ни в исподнем
чёрт наш не прячет впрок –
вверх грибницей грибок!

да впрямь ли не снится? –
весь довольством лоснится.
Будто бы он после баньки
Дует на чай под байки
/сахар снежною горкой,
сушки да чай с икоркой/...
Ишь как сопит да похрюкивает,
оземь хвостом постукивает!
Будто в своих палатах!
Будто не миром клятый!
Будто не гольшом!
К татю, тот, что с бердышом
уж подступил – боком, боком, -
чёрт подмигнул: «Ну – с Богом!
Хрясь – и земля мне пухом...»
Хрюкнул и тут же ухом
Зримо повел...

Повторно: «Ай!»
взвизгнула баба позорная.
Чёртово ухо длинным
сделалось вдруг –
ослиным!
Начало вширь раздаваться...
Больше в пять раз уж...
В двадцать!
Чёрт, он как бы при ухе.
И голоском старухи:
«Ась? – изогнулся, - ась?»

Вглядываясь иль таясь,
дурень присел,
заневестился,
лисьим хвостом занавесился.

А жарконосый дьякон
вспять шагнул раскорякой.
Прячась за старца болезного,
тряскую руку для крестного
знамения лишь вскинул –
нету нечистого!

Сгинул!
Есть сечевик разудалый!
Нету!

Змей уже алый!
Смерда обвил молодого,
лизет его медово,
дышит жарко и рдяно...
Вот под ударами прянул,
с братьями алыми свился,
в высь неистово взвился!
Малою сделался искрой,
канул во мраке быстро...

28.

Пляска же всё бесшабашней,
всё веселей и рьяней.
Взрыта земля вокруг пашней,
бранного поля багряней.
Мнится, в дремотные глубины
мати-земля сырая
ныне, как семя, вбирает
яростный топот вкупе
с ярым бряцаньем стали...

Поверху ж, ало пыля,
в крайнем, кажись, накале
вихрится буйно земля.
Алая,
 малость темней
изжелта-алых змей,
вихрится их же дорогой –
в мрак,
 где едва заметны
звезды,
 где чёрт намедни
искрой погас убогой.

29.

Чёрт ли?
 Затем ли он создан,
чтобы с людскою голью
набедокурив вволю,
сгинуть в стремленье к звездам?!
Чёрт...

 Но ведь он же дух!
И потому, конечно,
навсегда не потух
искоркой в тьме кромешной.
Сверху тысячей искр
в груди запал да в бурные,
чтобы сердца пурпурные
пламенем ярче взялись!

30.

Пляска – уже исступленье.
Пляшут в алмазах пота.
Пляшут,
 вдруг на колени
рушась во время взлета.
Пляшут,
 с колен тотчас

вскидываясь упруго.

Пляшут,

 всю рознь топча,
обняв за плечи друг друга,
из-под бровей матерясь
алого блеска глазами!

Пляшут –

 как в первый раз!
И – как в последний самый.

Пляшут расстриги кудлатые,
смерды,

 рябя заплатами
да – сквозь прорехи – телом,
дочерна закоптёлым...

Пляшет мордва босиком.

Глянь-ка, кое при ком

Будто рогатина?

 Верно!

Вкраплены буйноцветно,
пляшут казаки с Дона,
с Хортицы забубенной...

Пляшут с тропинок узких
тати,

 вчерашний узник...

Пляшут посадские парни,
будто из бани –

 распарены...

Пляшут калики,

 не вкрадчиво –
душу на свет выворачивая!

Пляшут,

 как от мороки –
вызверясь,

 скоморохи...

Пляшут калмыки,

 стрельцы,
с поводьями слепцы!

В чашу,

 где эхо немеет,
стаю вожак уводит –
люди и алые змеи
пляшут в одном хороводе.

НОЧЬ НА ПАРНАСЕ

/перед одноименной картиной/

поэма

Распростившись с отчим кровом
День-деньской идут сурово,
по пять в ряд, побатальонно –
мимо раскудрявых клёнов.

Все исполнены отваги:
нипочём, мол, нам овраги,
бури, критиков дубинки...
Все – поэты из глубинки.

Слышен окрик: «Подравняйся!
Недалече от Парнаса!
Грянем громозвучным хором:
«По долинам и по взгорьям...»»

Некий студент лит. института

Над Парнасом месяц рассиялся странно –
словно, неущербный, сплошь из янтаря!
Тени. Три...

И будто слышу я сопрано:

«Между нами, музами, говоря,
я засомневалась, не впустую ль дарим
людям неуёмный творческий азарт?
Вспомните – пригожим, пылким и поджарым
был мой стихотворец десять лет назад.
А теперь?

Круглеет, что ни день, помалу,
что там пыл, когда и пепла даже нет.
Очень он похожим был бы на менялу,
если б ещё рядом – столбики монет.

Только рядом – вот беда! – дощечек горки,
гладких, жёлтеньких, с налётом восковым.
Что ж на них он пишет

/иногда, меж оргий/?

Вот, последние куплеты таковы:

«Зевс-тучегонитель нынче расстарался,
сбил с ног его свирепый раб Борей.
Тучи низкие, свинцового окраса,
вижу я, клубятся у самих дверей.

Уж на что Эрот стрелок поднаторелый,
но и у него прицел наперекос...
Или золотые сладостные стрелы
то Борей сдувает к стаду диких коз?!»

А меж тем уж месяц, синева над нами
от усердья Феба ярко-горяча.
И – какие козы?!

Девы табунами
возле его виллы бродят хохоча.

Пишет он элегии, потому в печали,
что боится Спарты, персов и ворья...
До чего ж поэты нынче измельчали,
Высказалась первой вроде бы Эвтерпа?
Вот и лира, вижу, у нее в руках.
Высказалась смело, я б добавил – терпко.
Ну, ещё бы!

Дочка Зевса как-никак.

Чу! Теперь я слышу звучное контральто:
«Мне, сестрёнки, горше,

впору выть с тоски.

Мой-то мэтр и вовсе мелок.

А уж враль-то!

А уж лизоблюд-то!

Поискать таких.

Помните, как правил Аттикою Критий?
Как его ксантипов растерзал гепард?
Как Лисандр Ксантиппа утопил в корыте?
Как Лисандра в пропасть сбросил Антипад?

И поочередно четверых тиранов
/до сих пор мы спорим, кто из них подлей/
мой пиит прославил одою пространной,
не скупясь ни в коей мере на елей.

Век уж он павлином промеж певчей дворни
ходит, пряча в лаврах жиденский вихор.
Тошно это видеть!

Только тошнотворней
слышать, как те оды распевает хор.

Бедные хористы!

Сколько же стараний
требует их вроде б птичье ремесло!
Ведь изображают, что в восторге крайнем
от таких прекрасных, извините, слов,
что как бы обёртка съеденных пирожных
/кто же ей, обёрткой, забивает рот?!/,
всё-то невесомы, всё пустопорожни,

будь то даже «боги», «слава» и «народ».

Что всего паскудней, оды, все четыре,
разнятся /представьте од тех хоровод!/
только именами подлецов в порфире,
то бишь, именами персонажей од.

Он бы обессмертил одой и ворону,
окажись ворона в роли главаря...
До чего ж поэты нынче всесторонни,
между нами, музами, говоря!»

Смолкла.

Кто ж сия ехидная особа?
Стиль в руке, как видно, неспроста остёр.
И – таблички с глянцем...

Это ж Каллиопа!

Самая серьёзная из трёх сестер.

Да, поэтов музы видят без котурнов,
оттого и рейтинг оных невысок
среди сестёр...

Но, чу! – Весьма колоратурно
раздается третий звучный голосок:

«Что ж тогда сказать вам о моем Леандре?
Он, который прежде рвался в облака,
на плющом увитой, низенькой веранде
отлежал, поди уж, пухлые бока.

Так вот, полулёжа,
за глотком глоточек
попивая терпкое критское винцо,
водит знай стилем он вроде бы с ленцой,
но, однако же, без долгих проволочек.

Что ж он этак пишет?

О! Таких буколик,
право ж, не писали раньше.

Архилох

рассмеялся бы, как пьяный Пан, до колик,
Феокрит поохал бы, да, глядишь, и слёг,
Если б угораздило прочесть им плёвый
Розово-слюнявенький леандров текст.
Вот, судите сами.

Точно, слово в слово.
Жабой буду, если допущу гротеск!

«Солнце припекает, зеленеет травка,
козочки пасутся, мотыльки снуют...
Псы сторожевые не желают тявкать –
благодать такая всюду и уют.

Впрочем, кто такой я,
 Чтоб читать мораль-то?
Подожду, что скажут сестры Эрато.
Вот, уже дождался: вновь звучит контральто.
Значит, Каллиопа жёлчный свой роток
вновь открыла: «Сёстры! Всё-таки едва ли
справедливо, что своих троих марак
разругали мы сейчас и расклевали,
и распотрошили, бедных, в пух и прах.

Нет, трусливее, мол, их и нет ленивей,
Нет циничней, мол, и нет пьяней,
Нет, мол, и растленней...

 А они ведь –
как поэты – вовсе не из худших,
 не
из бездарных и хитрющих самых...
поглядите-ка в любые двор, окно,
поглядите-ка в трактиры, бани, храмы –
всюду-всюду есть свои поэты... но
ни у одного из щёголей кургузых,
хоть порою на язык они остры,
нету даже заваливающей хилой музыки,
даже пусть четвероюродной сестры!

Но зато кой-кто из них известен так же,
как шальной Леандр твой, Эрато,
и ликующею чернью в эпатаже
возведён на поэтический престол.

Вот, к примеру, Кирн.
 Довольством так и пышет.
Рядышком с Гомером быть уже готов.
Что же пишет он?
 Да эпиграммы пишет,
строфы покороче заячьих хвостов.

Что же, краткость Кирна дорогого стоит.
И – сверкает, ослепляя, хоть кричи,
остроумье!

 Но! Но более достоинств
нет.

 И, значит, веских нет на то причин,
чтоб приткнуться –
 да куда уж там к Гомеру! –
к Архилоху хоть, к Алкею иль Сапфо...

Вот ещё Пилад Фелоникский, к примеру.
Аттику покинул, переплыл Босфор –
не спасаясь от позора иль кинжала,
а в обиде на родимую страну

что его, возвышенного, принижала,
что подсунула ему не ту жену.

И свою обиду вовсе не для вида
пестовал Пилад наш с каждым днем нежней.
И случилось так -

уже не в нем обида,
А он сам уже при ней,
а то и в ней.

И теперь издалека, без заморочки,
с ветерком морским, просоленным,
легки,
долетают к землякам Пилада строчки,
а вернее, ядовитые плевки!

«Яд, он в малых дозах иногда полезен» -
утверждает достославный Гиппократ.

Но, в каких бы дозах
ни был яд,
Поэзией
Называть его безнравственно сто крат.

.....

Право ж, сестры, не нужна ума палата,
чтоб понять /поняв же, и простить/ глупцов,
почитателей и Кирна, и Пилада –
содержание и форма налицо
в стихоплётстве куцем их, по крайней мере...
Но спросить придётся мудрую сову,
как понять нам тех завзятых лицемеров,
тех, кого ещё софистами зовут?!

Это ведь они, софисты, окрылённо,
стаей галочьей галдящею представ,
мигом вознесли –
да вплоть до Аполлона! –
Фитерсита, полысевшего плута.

Я не поленилась и в обличье мыши
шмыг в каморку /благо, в оной кавардак/,
чтоб понаблюдать, как он нетленки пишет,
как сияет взором и потеет как.

Что ж на деле?
Развернул он грузный
наш словарь,
потом зевнул, как бегемот,
а потом закрыл глаза и закорузлый
палец слепо ткнул –
да с всхрапом! –
в разворот.

Далее – открыл глаза, прочёл, оскалюсь,
по-над ногтем слово,

записал – творя.

И – опять зажмурился,

опять ткнул палец

/наугад, вестимо/ в строчки словаря.

Записал – творя стихи – второе слово.

Оба слова я прочла: «Окно...» «Стоять...»

И – представьте! – тут же десятиголово
в дверь просунулись софисты,

не тая

своего апломба,

не стыдясь нисколько

скорой немужской крикливости своей,

своего дурного птичьего наскока:

«Полубог!» «Любимец Зевса!» «Поскорей

дай прочесть...» «Алкей с Пиндаром жалки

пред тобою!» «А Гомер... Гомер – фантом!»

Поначалу впрямь галдели, словно галки,

Друг на друга сумрачно косясь притом.

Но галдѣж стоял недолго.

А иначе

не могло и быть никак, ведь тишина

тут всенепременно полная нужна,

чтоб почувствовать, осмыслить, обозначить

все глубины и высоты эпопеи,

весь ее полифонизм и пафос весь!

Вот на время и примолкли,

Лишь сопели

над конгениальной парюю словес.

Наконец один, щекастый и громоздкий,
распрявился и заговорил –

таков,

будто вышел этим часом на подмости

пред толпою благодушных земляков:

«Знаю, что кажусь кому-то буквоедом,
для меня, мол, главное, чтоб текст не вкривь.

Мне неведома тоска, мол, и не ведом

благородный необдуманый порыв.

Но короткий сей глагол «стоять», однако,
я прочел, внимания не обратив,
что за ним нет восклицательного знака –
ибо мощный ощутил императив!

Да – стоять!

Да – при любой стоять погоде!

Да – конечно, пред распахнутым окном,

дабы видеть, ощущать, что происходит
каждый миг и каждый день в краю родном!

Чтобы ни улыбки, ни слезы единой
не укрылось меж полотнищ и ветвей...
Кредо честного поэта-гражданина
можно ль выразить короче и верней?!»

Сказанул!

Я усомнилась в том, что слышу
это наяву.

Ах, толстый златоуст!
Мне б, -
подумалось, -
стать львом сейчас,
не мышью,
вот бы прозвучали чавканье и хруст!

И покуда, чувствуя себя негоже,
я хваталась жалко за частицу «бы»,
выпрямился и второй софист,
похожий
здорово на жердь из вдовьей городьбы.
Но заговорил зато надменнее архонта,
Щуря без того подслеповатый взор:

«О поэзии все говорят охотно,
только, к сожаленью, чаще – сущий вздор.
А когда не вздор, то крайне заземленно
говорят,

боясь нырнуть и воспарить,
потому ли, что на это нет силёнок,
потому ль, что от своих родных корыт
отрываться до сих пор не доводилось...
Вот и в нашем обсужденье так почти –
страх, и слабость, и духовная бескрылость
не дают творенье гения постичь!

Ведь «окно», окно, оно – не в тихий дворик,
где затравленная пыльная трава,
не в проулок, где в ничемном разговоре
две мегеры пребывают час и два.

Нет, окно –
в бескрайность мира
и контрастность,

и – «стоять»,
стоять пред ним не так,
как столб,
а – растя в себе грифона мощь и страстность,
чтоб явиться наконец крылато,
чтоб
слово веское изречь народу свыше...

Убежден, да, твердо убежден я в том
что мы слово это завтра же услышим,
а верней, с благоговением прочтём».

И второй софист взглянул на Фитерсита.
Тот, казалось, сидя задремал, простак,
но однако же с улыбочкою сытой
покивал согласно: мол, да будет так.

Тут я не сдержалась: «Сотвори-ка
стих нам!

 Без незрячего тычка перстом,
На заказ! Ну?!»
 Только вместо крика
писк раздался, тоненький притом.

«Мышь!» - взвопил дородный дядя заполошно.
«Бейте! Что ж вы?!» - подхватил другой знаток
лирики...

 Тут, сестры, без гордыни ложной
опрометью я пустилась наутёк.

За порогом лишь я снова стала музой.

И из дома вывалясь,

 Нео-коты –
кто бочком, кто на карачках, а кто юзом –
на меня уставились, разинув рты...

Так-то вот.

 Услышать остальных софистов
не пришлось мне в тот несообразный день.

К счастью,

 Ибо злей похабщины и свиста,
уши жалит выпретенная дребедень.

Сестры, о софистах и об их кумире
и упоминать-то было б ни к чему,
если б не распространялася всё шире
(мне напомнив прошлогоднюю чуму)
мода на... на то, что я никак не смею
называть стихами.

 Говорят, на днях
завершил в Коринфе гений эпопею,
состоящую из междометья «Ах!»

Что же дальше?

 Очевидно, кто-то где-то
развернёт эпическое полотно –
от Геракловых столбов и до Тибета –
состоящее из восклицанья «О!»

Я шучу,

хотя вчера лишь аполлонов
жрец посетовал, согбен и плох,
мол, у Фитерсита столько эпигонов,
сколько у собаки шелудивой блох!
И – все процветают, славою пригреты,
черпая творенья в толще словаря...
до чего ж поэты нынче... не поэты,
между нами, музами, говоря!»

Смолкла.

Наконец-то смолкла Каллиопа!
Истинно она наговорила пять
коробов!

В ладоши вежливо похлопав,
Я по-рачьи, тихо продвигаюсь вспять.

И чего, скажите, ради, в час обеда
тут торчать и слушать всякий полубред?
Нет мне никакого дела до поэтов,
как и до меня поэтам дела нет.

Так ли, этак глянь, моя тут с краю хата,
и тропа к ней заросла давным-давно.
В лучшем случае я кто? –

Версификатор.
До поэта мне подняться не дано.

Да, порою удаются мне турысы
на колёсах,
а с недавних славных пор
даже на полозьях гнутых...

Только музы
сирого меня не видят и в упор.

Я и сам, -

наверно, надо повиниться, -
если речь идёт сугубо о стихах,
вряд ли вынести способен, чтоб девицы
мне советовали свыше: что и как.

Так-что с музами нас не скрепляли узы.
Но...

порой...
в депрессии, в сезон дождей,
издали (вот именно!) казались музы
звёздно-притягательными, ей-же-ей!

Было в них очарованье россиянок
(прежних!),
нежность гейш (из розовых новелл),
и ещё казалось мне, что постоянно
музыка при них –

то ль странный соловей,
то ли звуки флейты или клавесина...
И ещё пуржило, да, мело всерьёз
лепестками яблонь, ландышей, жасмина
и, конечно, белых, первоснежных роз.

В той пурге, благоуханной, лепестковой,
видел я /не потревоженный никем/,
как волшебнo, драгоценно и рисковo
муз глаза мерцали...

в дальнем далеке.

Но послушать муз не удавалось ране
мне.

Возможно, оттого, что глух слегка.
Но вернее, оттого, что слух мой странен –
если слышу что-то я издалека,
то обычно это музыка иль стоны...

И теперь,

вблизи подслушав речи муз,
ухожу смурной (хотя на вид бетонный),
будто бы со мной произошёл конфуз.

И – я обвиняю в том, что мне паршиво
не позавчерашний жёнушкин пирог
и не стихотворцев низкого пошиба,
а дочурок Зевса, полуночниц трёх.

Дескать, молодого

алого вина отведав,
в высь вскарабкались по козьеЙ по тропе
и злословят, словно дамы полусвета –
жёны замов, референтов и т. п.

Эк раскочегарились!

Да это разве
музы?

Вот проявится в моем мозгу
подходящее названье...

Язвы!

Язвы –
с полным правом так я их назвать могу.

Ухожу,

спешу к витрине яркой винной,
мне сейчас поэзия до фонаря...
А в ушах звучит, звучит ах как невинно:
«Между нами, музами, говоря...»

Оседлали весь забор
безбилетники.
Ай-яй-яй, какой позор:
есть сорокалетние!

Разместились пацаны
на деревьях голых.
В пазухах припасены
голуби – до гола.

Что там сук, в конце концов!
Есть места повыше.
Вон их сколько, сорванцов,
на железной крыше
четырёхэтажного
учрежденья важного!

Ну, а этот в чудо-позе –
быть бы фотоснимку! –
на стоящем паровозе
да с трубой в обнимку!

И над теми, что стоят,
и над верхолазами
сто прожекторов –
ряд в ряд –
смотрят огнеглазыми
чёрными драконами –
не прогнать иконами!

Смотрят все – не оторваться, -
смотрят все приклеенно,
смотрят тысяч, верно, двадцать
на поле хоккейное.

4.

Поле ты, большое поле,
не простое – голубое.
Всё ты – словно из зеркал,
где огни роятся!
Поле – удали раздолье!
Расписное! Вихревое!
Ведь не зря поэт сказал:
«Есть где разгуляться!»

5.

Наши в этом матче – синие,
приезжие – красные.
Синие, конечно, - сильные,

и красные – классные.

Если наши прорываются
и уже в чужой штрафной –
сотни возгласов сливаются
в рёв единый штормовой!
В данный же момент, однако,
зрители безгласны.
Это значит: контратака
красных.

б.

Мчится голову сломя
красный «край» вдоль бортика.
Встречен клюшками двумя –
вывернулся чёрт те как!
Дальше!

И даёт на выход
капитану пас – на!
Сделал синий клюшкой выпад,
не достал... Опасно!

Вылетел их капитан
грозной красной птицею
на ударную позицию.
Хоть защита по пятам –
клюшки взмах быстрый...
Как выстрел!

Кое-кто закрыл глаза.
«Где там мяч? В воротах? За?»
«Что, сосед, сдают нервишки?»
Но без страха страж ворот.

Бросился, как кот на мышку,
сцапал мяч,
скользит вперёд.
Вот метнул что есть силёнки –
прямиком на клюшку Лёньки!
Тот рванулся,
двух прошел...

«Ай да Лёня! Хо-ро-шо!»

Словно в душу сыпет жар вам –
так «десятка» мчит с мячом!
Только выдох белым шарфом
вьётся за его плечом!

А за Лёнькой сквозь защиту
трое наших – во всю прыть!

на команду синих.
А для красных приберёт
Сто улыбок милых...

Да, суди хоккей сам Бог,
Кричали б: «На мыло!»

8.

Что за зрелище! В дни мира
парни рубятся сплеча!
Клюшки – в щепки!
И всё мимо,
мимо малого мяча.

Мяч у нашего «восьмёрки»,
в гуще стелющихся тел.
До чего ж «восьмёрка» вёрткий –
Всю защиту завертел!
«Ну! Давай скорее пас!!» -
рявкнул рядом рьяный бас.
Да куда там! Разве слышит?
Знай по льду восьмёрки пишет.
Семерых обвёл наш Вова,
сам себя – восьмого...

«Дал бы пас! Единоличник!»
«За собою уволок
всю защиту... Звёзд столичных –
как щенят...»
«А я бы лично
сходу – в верхний уголок!»
«Здесь-то все мы – хвост морковкой,
а пусти туда, на лёд...»
«Вынь-ка стопочку. «Московской»
нам сейчас зятёк нальёт.
Граммчиков по двадцать-тридцать,
Чтоб маленечко взбодриться».
«Не-е-ет... Вот игрывали встарь:
заливали ртутью клюшку,
вратарю пущали юшку...»
«Ну, за то, чтоб их вратарь
проглотил сейчас голушку!
Ух!»
«Гляди, гляди-ка! Снова
обмотал троих! Ай, Вова!»

9.

По такому по морозу
да глоток «её» - ух, смак!
Если же превысил дозу,

не взбодрился ты, а смяк.

Как вон тот, к примеру, парень,
тот, с глазами окунька.
Просто чудо, как затарен:
булка, кильки полкулька,
«бомба» /рвёт живот в клочки!/ -
коньячок «Три свёкпочки»...
Что же видит он, болезный?
Что зашелся визгом:
«Жми, Иван, на всю железку –
до деревни близко!»?

Также жахнув самогона,
уж не сей ли чудодей
рассмешил средь мотогонок,
как средь ярмарки,
людей?
Мчались гонщики по кругу,
треск стоял до облаков...
Вдруг взопил он: «Лёнька, штуку!»,
нос просунув меж носков.

Он и тут на пузе б юзом –
только тесно, не упасть.
«Дай ему!» - визжит.
Арбузом
не заткнуть такую пасть.
Что ему до голубого
завихрения атак?
Для него хоккей – лишь повод
освинячиться вот так.

10.

А на поле, между тем, -
да простит мне комментатор,
что воспользуюсь цитатой, -
до предела взвинчен темп.
И виной – не биотоки
от трибун огромно-громких,
а неслышный спор жестокий
у ледовой кромки.

Там – мишень для кривотолков –
на скамьях завьюженных
два хоккейных старых волка,
тренера заслуженных,
примостились с виду кротко –
лишь на лапы дуют
да скребут на подбородках
щетину седую.

Хоть с свистком судейским первым
сквозь заморские «консервы»
взгляд вперяли лишь на поле –
в сине-красной заварухе,
в каждом пасе,
 даже в фоле
видели друг друга.
И пришли одновременно
к следующему выводу:
надо бросить на замену
свой последний выводок.

Тех юнцов ушастых двух,
прямоком от школьной парты,
у которых от азарта,
гордости и робости
так захватывает дух –
как над пропастью!

11.

Первым через бортик низкий
прыгнул, как зайчоночек,
паренек с девчоночьей
кличкой – Лизка.

Над трибунами – как осы –
зароились вмиг вопросы:
«Кто? Из юношеской? Краем?»
«Лизка? Девка?! Ну, остряк!»
«С ходом?»
 «А не проиграем?»
«местный парень иль варяг?»
«Есть ли у него невеста?
Какова на личико?»
Массе, в общем легковесной,
лишь фамилия известна
/по ней-то и кличка/.

Но отдельным дядям дошлым,
с весом оттого большущим,
ведомо о его прошлом,
настоящем и грядущем.
Отвечают, что и как.
Вес в любом ответе.
Мол, в детсад он на коньках
прилетал как ветер!
Мол, в три годика и в пять,
обходясь без ладушек,
палкою любил гонять
мерзлый конский катушек.

На виду у всех, мол, вырос,
но в команде он в тени,
ибо там – как ни гони –
зависти прижился вирус.

Но, хоть он и скромный мальчик,
всё ж удел его не сер,
и ему уже маячит:
во всю грудь «СССР»!

12.

А виновник пересудов,
накренясь немного вбок,
прочертил по льду покуда
полукруг, как ястребок.

Тут в возникшем тарараме
по краю как ринутся
синие под номерами
10 и 11!
Лёвка – Лёньке, Лёнька – Лёвке,
мяч – как на верёвке!
А накат! Какой накат!

«Будет штука, будь я гад!»

Лизка, словно звонкой шпорой
сам себе наддал: айда!
Ослеплён сверканьем льда,
но учуяв каждой порой
миг,
 сверкающий сто крат,
миг,
 что словно в сто карат,
мчится центром...

Тут – прострел!

Сходу клюшкой пригрел
он вконец забитый мяч
и – циркач нашёлся! – вскачь
по-над клюшками,
колотушками
промелькнул...

«Ура!»

«Типун...»

Кое-кто решил с трибун,
что в ворота прямо внёс
Лизка мяч.
Чёрта! Снос!
Лишь конёк блеснул – торчмя...

13.

Что ж, бывает и судья
реабилитирован.

14.

Матч к концу.

И при отливе
синих /тренерская воля/
зрители посуетливей
двинулись вдоль кромки поля.
Двинулись бочком на выход,
взгляды ж к полю все приклеены –
жаждет люд дорожных выгод
и моменты все хоккейные, -
до последних! –
как горчицу,
взять себе на ужин тщится!

«Время! Время, эй, судья!» -
выкрики несутся.
«Время! По кремлёвским я
ставил...»

«Эй, не суйся
со своим будильником!»
«Хочешь подзатыльника?»
«Бросьте! Ведь победа, други...»

Да, судья уж вскинул руки
и последний дал свисток,
чуть не в пять минут длиной.
Кончен матч.

Его итог

1:0.

15.

Толчея.

В толпе обмяться
рады все, как дети.
Пар дыханья и румянца
разнокрасноцветье.
Смех, галдёж.

И даже слышно
песенку урывками.

В стороне, в сугробе пышном,
парочка – кувырк! Аминь?
Нет, поднялись – белые,
обалделые.
То ли спелым снегом,
то ли белым смехом –
только фырк да фырк!

И опять – кувырк!

А у выхода напор
знатный...

«Охренели!»

Глухо крикает забор,
сдюживая еле.

«Жмитесь, девушки, поближе,
чай, жена не близко!»

«А судью нельзя облыжно...»

«Если бы не Лизка...»

«Дядь, куда ты так?! За водкой?»

«Нагонять Америку!»

Кто на остановку ходко,
кто неспешно к скверу,
кто домой, кто до продмага –
в пику тьме и холоду
растекаются, как магма,
зрители по городу.

«ДОРОГА»

Триптих

Ю. В. Сафрошкину

1.

Позавчера,

 в картинной галерее,
куда забрёл не знаю почему,
подумалось с уныньем:
 здесь, как всюду,
сограждане мои разобщены,
увы, разобщены и чужды
друг другу...

 Да притом ещё они –
в боязни ошибиться огляделся –
взаимно... да, враждебны.

 И ещё
мне показалось, что они скрывали,
скрывали друг от друга интерес
к одной картине.

 Так, чиновник с папкой
/сам, словно папка, однотонно строг/
поглядывал на ту картину мельком,
вполоборота, будто просто так.

А дама,
 недовольно /оттого ль
что на часок осталась без эскорта?/,
очки надела, модные весьма –
зелено-золотистые, стрекозы –
и, бестия, глядела, будто в щель,
туда ж, куда косился – мимоходом –
косматый тип –

 на ту – чтоб мне пропасть! –
ту самую картину!

 Лишь один,
всего один из доброго десятка
забредших в галерею земляков,
чистюля в аккуратненькой бородке,
нисколько интереса не скрывал:
так,

 постояв недолго пред картиной,
он отходил – ну, будто бы гоним...

И что ж?

 Спустя минуты возвращался.

И я, неожиданно вдруг повеселев,
с чистюли взял пример,
 пред той картиной
стоял и отходил, и возвращался.
Да, возвращался /с вызовом!/ я к той
Ничуть не эпатажной,

даже рамы
резной не удостоенной,
в углу
висящей /даже наискось!/ картине.
Название «Дорога» разглядел
не сразу.

Как не сразу я расслышал
и музыку, зовущую тихонько...
Куда?

Бог весть...

Почудилось в смятенье,
что необычный тихий тот мотив
исходит от самой картины.

Бредишь! –
я осадил себя. –

Проста, скромна
и не эзотерична та картина.
Судите сами –

От разноцветных, низеньких домишек
дорога,

обогнув лесистый холм,
по плоскогорью,
меж камней,
в бурьяне,
всё дальше забирается и выше...

И вот уж – дымчата,
в краю глухом...

И вот уже – на синей грани
земли,
уже – бескрайня...

2.

Вчера меня нежданно потянуло
в ту галерею вновь,
меня-то,
кто
бывает в культпросветучреждениях
по случаю,

не чаще раза в год.

Пришёл.

В тот самый зал и тот же угол,
Где явно многолюдней...

Чёрт возьми!

Знакомые – весьма приятно! – лица.
Чин чопорный без папки,

но с сынком

/такого б приняли в кавалергарды/
он на отца похож и... не похож –
казалось, покажи ему два пальца
и тотчас засмеётся...

Удивил

и некто –

накануне так богебно
да и бобыльно пылен и космат –
явился с причесавшей и умывшей...
А с дамою,

тогда недокомплектной,
пришел лощёный смуглый бонвиван.
И тот, с бородкой чеховской, чистюля,
единственный, кто не скрывал тогда,
свой интерес к некрасочной картине,
пришёл с приятелем себе под стать
и девушкой из ряда вон /вдруг всплыло
с заилившегося давно уж дна,
дна памяти моей словцо «курсистка»/.
Неужто же – я ахнул про себя –
такие сохранились экземпляры
до наших, до попсово-пошлых дней!

И всё же, всё же осознал я вскоре,
что и обрадован, и удивлен
я глубже тем,

что наше отчужденье
истаяло весенним снегом...

Да!

Что ж до враждебности – о той и речи
быть не могло!

Ещё заметил я,
что не скрывал уже никто –
никто! –
к картине пресловутой интереса...
Напротив – сгрудились пред нею все.
И тут в мозгах моих циничных, каюсь,
возникло подозрение: а вдруг
какой-нибудь охальник исхитрился
в картину врисовать –

ну, в те ж кусты
обочь дороги –
фавна и пастушку
в объятых упоительных,

а то
и современную порнуху?
Боком
придвинулся поближе...

Нет как нет
врисовок пошлых!
Есть зато – расслышал! –
та ж музыка, зовущая тихонько...
Так что ж, она исходит от холста?!
Конкретней же...

Мембрана где? Должна же
вмонтирована где-то быть она!

Но как ни вглядывался я, прищурясь,
не разглядел вкраплений никаких
технических...

Всё то же –

От разноцветных, низеньких домишек
дорога,

 обогнув лесистый холм,
по плоскогорью,
 меж камней,
 в бурьяне,
всё дальше забирается и выше...

И вот уж – дымчата,
 в краю глухом...

И вот уже – на синей грани
земли,
 уже – бескрайня...

3.

Сегодня же с утра,
 как говорится –
я деятельность бурную развил,
чтоб устранился –
 ну, хотя б на время –
от всяких вроде неотложных дел,
которые, как оказалось, вовсе
никчёмны.

 Устранился.
 Кой от каких.

На остальные плюнул.
 И, конечно,
подался в галерею.

 Подходя,
услышал ту же музыку...
 Откуда?!

Да изнутри...
 Выходит, что ж? –
 Во мне

та музыка, зовущая тихонько.
Прибавил шагу...

 Подхожу.
 В углу
ещё, пожалуй, многолюдней.

 Наши
/да как же их назвать иначе, а?/
все тут.

 Здоровуюсь.
 В ответ – улыбки.

Ей-ей, я даже не предполагал,
Что может быть улыбка –
 Да мужская! –

столь солнечной и это несмотря
на строго-аккуратную бородку.
И прежде чопорный отец с такой
улыбкой говорит: «День добрый!»,
что в этот миг совсем-совсем похож
на сына...

А красавец южно-смуглый,
кого я бонвиваном окрестил,
мне улыбается чуть грустновато,
приобнимая спутницу свою.
Неряха ж бывший и его подружка,
что, будто дети, за руки взялись,
и улыбаются мне, будто дети.
А та, кого курсисткой я нарёк,
с рукой своею под надёжным локтем
того, кто с нею приходил вчера
и кто мне улыбается так славно,
так вот – «А мы вас заждались!» -
мне говорит она и, чуть подавшись
ко мне,
под локоть мой –
свою другую руку...

Так стоим мы.
Стоим? Да разве мы стоим?!
Стоим.

Пока. Ведь –

От разноцветных, низеньких домишек
дорога,
обогнув лесистый холм,
по плоскогорью,
меж камней,
в бурьяне,
всё дальше забирается и выше...
И вот уж – дымчата,
в краю глухом...
И вот уже – на синей грани
земли,
уже – бескрайня...

Содержание:

I.

1. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПЕГАС»

2. К «ГЕРОИЧЕСКОМУ ПЕЙЗАЖУ» ПУССЕНА
3. ОТ ЛИЦА АРГОНАВТОВ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «АРГОНАВТЫ»
4. К КАРТИНЕ РЕМБРАНДТА «ДАНАЯ»
5. ТИЦИАНУ, ИЗОБРАЗИВШЕМУ ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ НА ОСНОВАНИИ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6. ПЕРЕД КАРТИНОЙ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «ПАДЕНИЕ ИКАРА»
7. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «МУЗА ЭРАТО»
8. ПОПЫТКА ОЗВУЧИТЬ КАРТИНУ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СЛЕПОЙ АЭД И ТОЛПА»
9. СИЗИФ
10. ОТ ЛИЦА АМАЗОНОК С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
11. К ГРАВЮРЕ ДЮРЕРА «МЕЛАНХОЛИЯ»
12. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ПРЮДОНА «ПОХИЩЕНИЕ ПСИХЕИ»
13. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СТАРЫЙ ВОИН»
14. ПОЯСНЕНИЯ АПЕЛЛЕСА
15. АПЕЛЛЕС
16. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ БОТИЧЕЛЛИ «МИНЕРВА И КЕНТАВР»
17. У КАРТИН НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «АРЕС» И «ТРИ НЕРЕИДЫ»
18. ВОПРОСЫ (по поводу вакхических картин Рубенса, Пуссена и Тициана)

19. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ТРИСМЕГИСТ»
20. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «В ОЖИДАНИИ СИРЕНЬ»
21. ПЕРЕД КАРТИНОЙ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СОФОКЛ»
22. БОГИНЯ И СМЕРТНЫЙ (касательно картин Джорджоне, Тициана, Тинторетто, Веронезе, Пуссена и других художников, изобразивших Венеру и Адониса)
23. К КАРТИНЕ РУБЕНСА «СТАТУЯ ЦЕРЕРЫ»
24. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «РУИНЫ»
25. У КАРТИНЫ ТИЦИАНА «ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ»
26. НЕРОНУ С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
27. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «КОНЬ В СЕНАТЕ»
28. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ДРАКОН»
29. ЭЗОПУ (с одноимённой картины Веласкеса)
30. К КАРТИНЕ ВЕРОНЕЗЕ «НАЙДЕННЫЙ МОИСЕЙ»
31. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПИРР, ЦАРЬ ЭПИРА»
32. ПИФАГОРУ
33. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СТРАННЫЙ НИЩИЙ»
- II.
34. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «УТРО В НАЗАРЕТЕ»

35. КАСАТЕЛЬНО ФРЕСКИ ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО «БЛАГОВЕЩЕНИЕ»
36. К КАРТИНЕ РАФАЭЛЯ «ОБРУЧЕНИЕ МАРИИ»
37. К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «ПЕРЕПИСЬ В ВИФЛЕЕМЕ»
38. К КАРТИНЕ ГАДДИ «БЛАГОВЕСТИЕ ПАСТУХАМ»
39. ПРОСТОЛЮДИНАМ С КАРТИНЫ КОРРЕДЖО «ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ» («СВЯТАЯ НОЧЬ»)
40. ПЕРЕД КАРТИНОЙ БОТТИЧЕЛЛИ «ПОКЛОНЕНИЕ ЦАРЕЙ»
41. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ РЕМБРАНДТА «БЕГСТВО В ЕГИПЕТ»
42. К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «ПРОПОВЕДЬ ИОАННА-КРЕСТИТЕЛЯ»
43. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ПУССЕНА «ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ»
44. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ КРАНАХА «САЛОМЕЯ»
45. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВАН ЭЙКА «МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ В ЦЕРКВИ»
46. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО «БРАК В КАНЕ»
47. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО «ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА»
48. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ РЕМБРАНТА «ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА»
49. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО «ХРИСТОС, ОМЫВАЮЩИЙ НОГИ УЧЕНИКАМ»
50. К ФРЕСКЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»
51. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ДЖОТТО «ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ»
52. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ТИНТОРЕТТО «ХРИСТОС ПЕРЕД ПИЛАТОМ»
53. К КАРТИНЕ ДЕ ЛА ТУРА «СЛЁЗЫ ПЕТРА»

54. КАСАТЕЛЬНО КАРТИН «НЕСЕНИЕ КРЕСТА» БОСХА, ТИЦИАНА И ДРУГИХ ХУДОЖНИКОВ

55. К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО ШЕСТВИЕ НА ГОЛГОФУ

56. К КАРТИНЕ ГРЮНЕВАЛЬДА «ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА»

57. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ МУРИЛЬО «ВОЗНЕСЕНИЕ МАРИИ»

58. БЛУДНОМУ СЫНУ С ГРАВЮРЫ ДЮРЕРА
(а также отчасти с картин Пальмы Младшего и неизвестного художника)

59. БЛУДНОМУ СЫНУ С КАРТИНЫ РЕМБРАНТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА»

60. ПЕРЕД КАРТИНОЙ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «ПРИТЧА О СЛЕПЦАХ»

61. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВЕРОНЕЗЕ «СВЯТОЙ ИЕРОНИМ»

62. УВЯДАЮЩЕЙ РОЗЕ С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

III

63. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВОРОН»

64. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ БОТИЧЕЛЛИ «АВГУСТИН»

65. К КАРТИНЕ БОТИЧЕЛЛИ «ДАНТЕ»

66. ВМЕСТО ДВУХ ГВОЗДИК

67. К КАРТИНЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «СВЯТОЙ ИЕРОНИМ»

68. К КАРТИНЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ДАМА С ГОРНОСТАЕМ»

69. НА УЛИЦЕ МИЛАНСКОЙ

70. ГЕРЦОГ ЛОДОВИКО СФОРЦА – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

71. ПО ПОВОДУ УТРАЧЕННОЙ ФРЕСКИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «БИТВА ПРИ АНГИАРИ»

72. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ДЖОКОНДА» («МОНА ЛИЗА»)

73. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СМЕРТЬ ПРОВИДЦА»

74. РАФАЭЛЬ НА РАСКОПКАХ

75. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПОСЛЕ СХВАТКИ»

76. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВОРОН С ПЕРСТНЕМ»

77. ОТ ЛИЦА ХОЗЯИНА КОНЯ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «РЫЦАРСКИЙ КОНЬ»

78. К КАРТИНЕ ДЖОРДЖОНЕ «РЫЦАРЬ С ОРУЖЕНОСЦЕМ»

79. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ КАРПАЧЧО «ЛЕВ СВЯТОГО МАРКА»

80. ПЕРЕД КАРТИНОЙ ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ «ДОЖ ЛЕОНАРДО ЛОРЕДАНО»

81. ОТ ЛИЦА ПОЭТА С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПОЭТ (ПЕТРАРКА?)»

82. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ТИЦИАНА «АРИОСТО»

83. К РИСУНКУ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПИШУЩИЙ ПЕТРАРКА»

84. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ТИЦИАНА «ЗНАТНЫЙ ВОИН»

85. УНДИНЫ

86. К КАРТИНЕ ЭЛЬ ГРЕКО «ВИД ТОЛЕДО»

87. К РИСУНКУ ВЕЛАСКЕСА «ГОЛОВА ОЛЕНЯ»

88. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВЕЛАСКЕСА «ВОДОНОС»

89. ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВЕЛАСКЕСА «СЕБАСТЬЯНО МОРА»

90. ИНФАНТА МАРГАРИТА
91. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВЕЛАСКЕСА «МАРКИЗ БОРРО»
92. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «УТРО»
93. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ МУРИЛЬО «ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК»
94. ОТ ЛИЦА ПОЛУБЕЗУМНОГО КАБАЛЬЕРО С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
95. КАСАТЕЛЬНО ОДНОЙ СПОРНОЙ КАРТИНЫ
96. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «КАРЛ ВЕЛИКИЙ, ПОДПИСЫВАЮЩИЙ УКАЗ»
97. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ЗНАТНАЯ ДАМА»
98. АНКУИН И ПЕПИН
99. ЕЙ – С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПРОЩАНИЕ»
100. ПОЧТИ НАОБУМ – ЭММЕ С ОДНОИМЕННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
101. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
102. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ОСАДА»
103. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «НЕЛЮДИМ»
104. ПО ПОВОДУ ГРАВЮРЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ»
105. ВЫЗОВ СХОЛАСТА
106. ОТСТАЮЩЕЙ ПТИЦЕ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВЕЧЕР»
107. ОТ ЛИЦА ГОСТЯ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ГОСТЬ В ЗАМКЕ»

108. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СКАЧУЩИЙ ВСАДНИК»
109. СОСЕДУ ПО ПОВОДУ ЕГО ПОРАЗИТЕЛЬНОГО СХОДСТВА С ФИГУРОЙ НА КАРТИНЕ БОСХА «ВОЗ СЕНА»
110. ПО ПОВОДУ ТРИПТИХА БОСХА «ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ»
111. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ БОСХА «ФОКУСНИК»
112. ВОСПОМИНАНИЕ, ВСПЛЫВШЕЕ ПЕРЕД КАРТИНОЙ БОСХА «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» (конкретнее, перед фрагментом «ТЩЕСЛАВИЕ»)
113. К КАРТИНЕ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ТАНЕЦ»
114. К КАРТИНЕ РУБЕНСА «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
115. ВОПРОСЫ У КАРТИНЫ РУБЕНСА «ПОРТРЕТ ЕЛЕНЫ ФОУРМЕНТ»
116. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ РУБЕНСА «СХВАТКА ЗА ЗНАМЯ»
117. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ РУБЕНСА «СТРАШНЫЙ СУД»
118. ЗАВИСТЬ
119. ПИРУЮЩИМ С КАРТИНЫ ЙОРДАНСА «БОБОВЫЙ КОРОЛЬ»
120. ОТ ЛИЦА ПАТРИАРХА С КАРТИНЫ ЙОРДАНСА «БОБОВЫЙ КОРОЛЬ»
121. К КАРТИНЕ ВАН-ДЕР-ГАЛЬСТА «ЗНАМЕНЩИКИ»
122. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ РЕМБРАНТА «ПОЛЬСКИЙ ДВОРЯНИН»
123. К КАРТИНЕ РЕМБРАНТА «ПЕЙЗАЖ С РАЗВАЛИНАМИ»
124. К КАРТИНЕ РЕМБРАНДТА «АВТОПОРТРЕТ С САКСИЕЙ НА КОЛЕНЯХ»
125. К «АВТОПОРТРЕТУ» (из последних) РЕМБРАНДТА

126. АМСТЕРДАМСКИЕ ПРОХОЖИЕ
127. ВЕСЁЛОМУ БРАЖНИКУ С КАРТИНЫ ГАЛЬСА
128. К КАРТИНЕ ГАЛЬСА «КОРМИЛИЦА С РЕБЕНКОМ»
129. ДИАЛОГ АВТОРА КОММЕНТАРИЕВ И МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В ЧЁРНОЙ ШЛЯПЕ С КАРТИНЫ ГАЛЬСА
130. ОФИЦЕР С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ ГАЛЬСА МНЕ, ГОРЕМЫЧНОМУ
131. БЕЗЫМЯННЫЙ ОФИЦЕР – ФРАНС ГАЛЬС
132. К КАРТИНЕ РЁЙСДАЛЯ «ЛЕСНОЕ БОЛОТО»
133. ПЕРЕД КАРТИНОЙ РЁЙСДАЛЯ «ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА»
134. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ РЁЙСДАЛЯ «ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ»
135. К КАРТИНЕ ГОНДЕСКУТЕРА «БЕЛЫЙ ПАВЛИН»
136. К КАРТИНЕ ЯНА СЕНА «БОЛЬНАЯ ОТ ЛЮБВИ»
137. К КАРТИНЕ СЕНА «ГУЛЯКИ»
138. СОСЕДИ
139. СОБАКЕ С КАРТИНЫ ПОТТЕРА «ВОЛКОДАВ»
140. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПРИХОД СМЕРТИ»
141. К КАРТИНАМ АДРИАНА ВАН ОСТАДЕ «ХУДОЖНИК В МАСТЕРСКОЙ» И «СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ»
142. ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВЕРМЕРА ДЕЛФТСКОГО «КРУЖЕВНИЦА»
143. К КАРТИНЕ ЯНССЕНСА «КОМНАТА»
144. ПО ПОВОДУ НАТЮРМОРТА ДЕ ГЕЕМА «ОМАР И ПЛОДЫ»
145. ОТ ЛИЦА ЮНОШИ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СВИДАНИЕ»

146. К КАРТИНЕ МЕТСЮ «ЗАВТРАК»
147. ОТ ЛИЦА ЮНОШИ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВЛЮБЛЁННЫЙ»
148. К КАРТИНЕ ГОЛЬБЕЙНА МЛАДШЕГО «ГЕНРИХ VIII, КОРОЛЬ АНГЛИЙСКИЙ»
149. К КАРТИНЕ ВЕРНЕ «В ПАРКЕ»
150. ОТ ЛИЦА ПАЖА С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ИОЛАНТА С ЛЮТНЕЙ»
151. К КАРТИНЕ БУШЕ «ПАСТУШЕСКАЯ СЦЕНА»
152. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПАСТУХ»
153. ПЕРЕД КАРТИНОЙ ЛАНКРЕ «ТАНЦОВЩИЦА КАМАРГО»
154. К КАРТИНЕ ФРАГОНАРА «ПОЦЕЛУЙ УКРАДКОЙ»
155. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ДЕ ЛА ТУРА «ПОРТРЕТ МАРКИЗЫ ПОМПАДУР»
156. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ ВАТТО «ПАЯЦЫ» («ЖИЛЬ»)
157. ОТ ЛИЦА ПАЯЦЕВ С КАРТИНЫ ВАТТО
158. ОТ ЛИЦА МОЛОДОГО РЫЦАРЯ С ОДНОИМЁННОЙ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
159. К РИСУНКУ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «РЫЦАРСКИЙ ГЕРБ»
160. ОТ ЛИЦА ПАЛАЧА С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПАЛАЧ НА ПРОГУЛКЕ»
161. ХАНСКАЯ ЗАТЕЯ
162. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВИД С ПРИСТАНИ»
163. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «МОРЕПЛАВАТЕЛЬ (МАГЕЛЛАН)»

164. ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВАН АНТУМА «МОРСКАЯ БИТВА»
165. ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «НОЧНОЙ АБОРДАЖ»
166. РАЗГАДКА МОРЯКА С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
167. ОТ ЛИЦА ЖЕНЩИНЫ С КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «НА СХОДНЯХ»
168. К КАРТИНЕ ВАН-ДЕ-ВЕЛЬДЕ МЛАДШЕГО «ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
169. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ВАЛУН НА БЕРЕГУ»
170. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «МОЛЧАНЬЕ МОРЯ»
171. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ТАВЕРНА»
172. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «КРАКЕН»
173. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «БЕЗУМНЫЙ ЖАК»
174. С ДАЛЁКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
175. НАСТОЯТЕЛЬ НА ПРОГУЛКЕ
176. ИЗУМЛЕНИЕ
177. КАСАТЕЛЬНО КАРТИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ДРАМАТУРГ»
178. ПЕРЕД КАРТИНОЙ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «ПРОГУЛКА»
179. ТО ЛИ К ВИДЕННОЙ МЕЛЬКОМ, ТО ЛИ К ВОВСЕ ПРИСНИВШЕЙСЯ КАРТИНЕ
180. К КАРТИНЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА»
181. КИТУ

СОНЕТЫ (и не только)

ОБОРОТЕНЬ
ЕРОПКА И БАБА-ЯГА
ЕРОПКА И РУСАЛКИ
ЕРОПКА И ШИШИГА
ЕРОПКА И ВОДЯНОЙ
ЕРОПКА И НЕВЕДОМОЕ ПЕНИЕ
ЕРОПКА И ЛЕШИЙ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
СЫН
БРОСИЛА-ТАКИ...
УТЁС
ВСКОЛЬЗЬ О ПТИЦЕ ГАМАЮН
КОТ ЛЮБ
ЛЕДАЩИЙ
СЕДЬМОЕ НЕБО
АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ
ЕСЛИ...
В НОЧИ
ЕЩЁ О ДОМОВОМ ЛУКЕ
О ВЕДЬМАХ
ОСЧАСТЛИВЛЕННЫЙ
ЖАР-ПТИЦА
ЧИНГИСОВА ЯСА
РОЖДЕНИЕ КОНФУЦИЯ
ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ МОТИВ
ПОСЛЕ БИТВЫ
АКВАРЕЛЬ
ГИБЕЛЬ ПОМПЕЙ
АСПАЗИЯ
ДАВНЕНЬКО, НО...
РАЗВАЛИНЫ
ОСЛЫ И БАРАНЫ
ВООБРАЖЕНИЕ, СТОП!
ШУМЕРСКИЙ МОТИВ
АККАДСКИЙ МОТИВ
СТЕНА
НАСТАВЛЕНИЯ ВАВИЛОНСКОЙ БАБУШКИ
РЫБАКИ
ВЫЕЗД
ПЕРЕД БИТВОЙ
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
УГОВОРЫ
КОНЧИНА КАТЕРИНЫ
СЛУШОК
ГРОБНИЦА ИНКВИЗИТОРА
СОНЕТ
СОН В ПОДАРОК
ЮДИФИ
ОТЕЦ РЕМБРАНДТА
ОТТУДА

ЗВЕЗДА УТРА
КОНЧИНА ГЁТЕ
ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА
ЦВЕТОК
ОПРАВДАНИЕ ФУТУРИСТОВ
ПОЭТ И КРИТИК
В ТАЁЖНОЙ ГЛУШИ
РЕДАКТОР
БЫВАЕТ ЖЕ!
О-ХО-ХО...
КРАСИВЫЙ СОН
РУБЦОВ О РЕДАКТОРЕ
МИМОЛЕТНОЕ ЗНАКОМСТВО
ВСЯ КАК ЕСТЬ
СТЕРХ
КОРНЕВИЩЕ
ТАНК
ДРУГ МОЙ, ДРУГ МОЙ...
САЛАМАНДРЫ
БАРАК
СТРОКА
РОМЕО НАШЕГО ДВОРА
ДУШОНКА
СТАНОЧНИЦАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
В КОММУНАЛКЕ
ВО ДВОРЕ, НА ТРУБАХ
ГОРОХУ КАК РАСТЕНИЮ
КРАСНАЯ ЧЕРЁМУХА
ПРИЗЫВ (90-е)
МИТИНГ (90-е)
НЕМНОЖКО О НИХ
БУРИМЕ
СЭР ДЭВИД
ДОЛГОЖИТЕЛЬ (М.И. ЛИМАСОВ)
«ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА!»
ФРОНТОВИК
СТИХИ СОСЕДКЕ КЛАВЕ
В ТУБСАНАТОРИИ
ЗАПРАВЩИК
БОРИС СТЕПАНЫЧ
ОБИЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ
КОМСОМОЛЬСКИЙ СОН
НА РУССКОЙ РАВНИНЕ
ПОЕЗД ПРЕДРЕВВОЕНСОВЕТА
ПОСЛЕ СКАЧЕК
КСТАТИ
ВИДЕНИЕ
ПРАБАБКА
ПРАВДА О МУРКЕ
МОРОК НА ПАРИЖСКОМ КЛАДБИЩЕ
В ПАРИЖСКОМ КАФЕ

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ
ЛЫЖНИК
НА ТУРБАЗЕ
В КОПИЛКУ
БАСКЕТБОЛ
БИАТЛОНИСТ
НАША ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
ГДЕ (ДАВНИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ)
НА ПОМИНКАХ
МАЛЬЧИШНИК
ЗАПОМНИТСЯ ЖЕ!
ДРУЗЬЯМ ДЕТСТВА
КОГДА ЕДЕТ КРЫША
ПРИЧИНА
ЕЩЁ О СОЛНЦЕ
ЖАННА
У МОРЯ
ВЛЮБЛЁННЫЙ ПРОВИНЦИАЛ
ОНИ
БРЕД
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
НАСТЯ
ПОДРУГА ЛЮБОВНИЦЫ
СОСЕД
ГЛАША
КОКЕТКА
ПЛАСТИНКА ГЕРШВИНА
ЛИК И ЛИЧИНА
МАГНИТОФОН «АЙДАС»
ЖУЧИХА
НА СВАДЬБЕ (ЛИЛЯ)
ПОРТРЕТ (ЛИЛЯ)
САМОУВЕРЕННОСТЬ
НОЧЬ НА ПОЛУСТАНКЕ
УТРО В НАЗАРЕТЕ
ЕЩЁ ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
КАБЫ ТАК!
УЖО ЭТИ РЕИНКАРНАЦИИ!
ЗВУЧИТ!
НА МЫСЕ
ЦИКЛ
ТАК-ТО
НЛЮ
ИНКУНАБУЛА
О СЛОВЕ
О КАНОНЕ
ОБ ИСТИНЕ
ДАЛЁКИЕ ПРЕДКИ
НА ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ ДОРОГЕ
ЗАВИСТЬ
МОТЫЛЁК
КОНЧИНА ЛИ БО

РАЗГОВОР ОБ ИМЕНИ
ДРЕВНИЙ НИШАПУР
РУБАИ
СЛУЧАЙ
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ
ДАНТЕ
СТАРЫЙ ПЕТРАРКА
НЕВРАЗУМИТЕЛЬНО О ШЕКСПИРЕ
КОНЧИНА БАСЁ
МУЗА САТИРЫ
БЕГСТВО
ШТРИШОК К ПОРТРЕТУ ГЕЙНЕ
МЫСЛИШКА
ТЮТЧЕВ
ОСКАР УАЙЛЬД
КОЕ-ЧТО О МОРЕ
ЛИТ. ИНСТИТУТСКИЙ СПОР
НА ОСТАНОВКУ, ЗА ИЛЬЁЙ СЕЛЬВИНСКИМ
ЛИТ. ИНСТИТУТ
НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
СТРЕЖНЕВЦАМ
ЕСЕНИН
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
ЛОРКА И ВЫ
ГЕРБ
ЧУДО
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
ОДНАЖДЫ
НИКОЛАЮ БЛАГОВУ
ВАЛЕРИЮ КРУШКО
АЭРОКЛУБ
КОНЦЕПТУАЛИСТ
РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ
ВСЯ КАК ЕСТЬ
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПАЖ
КУЗЯ
БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА
ВОСПОМИНАНИЕ О ЛИТЕРНОМ «А»
ПАЦАНЫ-44
ФУТБОЛИСТЫ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ
АКВАЛАНГИСТ
ШУТЕЙНО
МУХА
ПЕСЕНКА О КАПИТАНЕ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
БАРД
ПОСЛЕДНЯЯ РАДУГА
БЫТЬ УТРОМ

ТО С ВЫЗОВОМ, ТО СТРАСТНО, ТО ДЕРЖАВНО...
(Мария Шакун о поэзии Виталия Масюкова)

ОТБОР (крупные формы)

Рабы Цицерона (венки сонетов)
Чудной старик (венки сонетов)
Меч или наказ Мерлина (поэма)
Сватовство батава (поэма)
Поющий портной (триптих)
Отбор (диалоги)
Проделки чёрта (фрагмент трилогии)
Ночь на Парнасе (поэма)
Вечерний хоккей (поэма)
«Дорога» (триптих)

Масюков Виталий Андреевич (1934 – 2011). Родился в Краматорске. Учился в литературном институте им. Горького в Москве. Жил в Ульяновске, долгое время работал на машиностроительном заводе им. Володарского. Много лет руководил литературным объединением «Стрежень». При жизни было издано две поэтических книги – «Последняя радуга» (1997 г.) и «Быть утром» (2008 г.)

«В поэзии тайна есть...»

В мае 2011 года довелось беседовать с Виталием Масюковым у него дома. В числе прочего речь шла о литературном труде, о сущности поэзии. Я включил диктофон. Это - концовка стенограммы. Больше его живой голос услышать было не суждено.

- Виталий Андреевич, что заставляет вас творить, какие у вас для этого внутренние предпосылки?

- Кто-то, чуть ли не Лев Толстой, сказал, что вдохновение – это хорошее рабочее состояние. Но я для себя сейчас считаю и себе как бы говорю: если у тебя есть планка – и от этой планки не опускайся ни на микрон. Мы в детстве читали «Как закалялась сталь» Островского, там было так: сколько раз в атаку ходили – не получалось, двести раз

ходили, две тысячи раз... Сколько раз надо идти в атаку – иди, но что ты задумал – сделай. Не получается – всё равно продолжай. А кто другой за тебя это сделает? Если считаешь, что именно так надо, как ты задумал, – то делай. А если считаешь, что любой так сотворит, как ты, – то на черта тебе это сдалось всё?! То есть получается, что нет никакого вдохновения – есть некий долг. Долг перед людьми, перед Господом, перед собой. Вот создали тебя, выкинули на эту Землю – будь добр, надо «носить богов всемогущих корзины». Это означает, что надо попросту делать что-то хорошее. Причем с возрастом это будет всё труднее и труднее. Это как в спорте: неудачи, падения, но надо не поддаваться, надо стараться ниже своей планки не прыгать... И не дай бог стать конъюнктурщиком, быть, как некоторые: как подуло откуда-то – то он о спорте, то он о святых, то он чернуху пишет сплошную, чего только нет... А некоторые так: решил написать и напишу. И в этом случае профессионализмом и не пахнет совершенно.

- А что такое литературный профессионализм?

- Талантливые люди не могут ответить на этот вопрос, у них это само собой получается. А обычный человек вполне может стать профессионалом, по крайней мере, прозаик. Ну чего тут трудного? Ну вот у тебя герой Иванов, Петров, Тося, Фрося, какой-то сюжет. Так ты не мни о себе что-то, читай классиков. Ты звезд с неба не хватаешь – пиши традиционный роман, повесть. Если «Петров» - опиши его, чтобы читатель видел его перед собой. Может, он ногу приволакивает, может он за ухом не вовремя чешет. Некоторые говорят: а если у него нет никаких особенностей – черт с ним, это литература, не жизнь – придумай эти особенности. Ты простой человек, ты не талант, ты просто хочешь быть профессионалом – придумай, и тогда твой герой «оживёт» у тебя и читатель увидит его. Вот такой-то у него нос, вот он чешет за ухом, вот это – любимое его слово. Ну что тут трудного?! А иногда читаешь – ничего этого нет, как сквозь облако какое-то проходишь. Ничего нет: схема и схема! Не человек, а схема. Я говорю о самом простом писателе, не о талантливом. У талантливого это само собой получается. Он один штришок даст – и всё, герой уже сроднился с читателем. Профессионализм – это знание писательского дела и трезвая оценка своих способностей. И это такая, оказывается, редкость, боже мой...

Небольшие рассказы – это одно. А когда пишешь большую вещь прозаическую? Конечно, это не так просто, но вот я кое-что от Коли взял, от Гены взял, сообразил какой-то типаж. Допустим, он у меня токарь или футболист. И вот я начал про него писать. И вдруг я чувствую, что он «оживает». Он уже не Коля, и не Гена, а я назвал его Игорь. Он Игорь, черт подери! Вот и Пушкин писал: что Татьяна Ларина со мной сделала?! Я же монастырь её предполагал, а она замуж за генерала вышла. Она живая стала, и он ничего с ней не может сделать. Он хоть и «соткал» её, домыслил, но она уже живая, а живая она – за генерала замуж. Вот такая штука, и это – серьезная вещь. Почему серьезная, потому что когда я сжигал свои рукописи – было как-то, - ощущения были такие: если это стихи – это личное что-то, горят и ладно. А вот когда пьесы и повести – это совсем не так: это как будто сжигаешь живых людей. Ну что такое! Я же написал вас! Вы же никому не нужны, вы советские люди, написаны в советское время, боретесь за социализм и так далее. Чего вы? И всё равно – как будто сжигаешь живых людей... Так что прозаик может быть даже человеконенавистником, но своих героев он должен любить. Даже подлеца надо ему любить за то, что он с изюминкой подлец, колоритный подлец. А если не любит своих героев, то без любви получается ерунда.

- А как отличить поэзию от непоэзии, есть ли для вас какие-то существенные признаки для этого отличия?

- Это очень трудный вопрос... Конечно, я над этим думал. Мне кажется, есть градация. Итак, низший слой: это очень хорошая проза. Точная, ритмически организованная, рифмованная. Пример из Пушкина, «Евгений Онегин»:

Вот бегаёт дворовый мальчик,

В коляску жучку посадив,
Себя в коня преобразив,
Шалун уж отморозил пальчик,
Ему и больно и смешно,
И мать грозит ему в окно.

Это ж по сути точнейшая психологическая зарисовка, проза, где тут поэзия? Но она там есть. И далее – поднимаемся выше. Гарсия Лорка.

И тополя уходят. И след их озерный светел.
И тополя уходят, но нам оставляют ветер...

Ну как тополя могут ходить? Непонятно для здравомыслящего человека. Но воот это и поэзия, это уже верх поэзии. Или читаем у Есенина:

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

Ну «глаз осенняя усталость» - совершенно понятно всем. «Пускай ты выпита другим» - тоже. Но какой, к черту, «волос стеклянный дым»? Это что такое? А вот нравится – и действует на меня! Это ж надо, а? Я, конечно, пытался доискаться, в чем дело. А дело в том, что чувство, которое в нем он пытался выразить, и пусть он его не до конца выразил, но читатель всё равно понимает это. И это уже поэтически выше «дворового мальчика»... Или снова у Есенина, в «Черном человеке»:

И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Как это?.. А вот действует – и всё... Как он этим передал чувство тревоги какой-то! Или:

Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.

Ну казалось бы, это ни в какие ворота не лезет! А действует.
Так что в поэзии тайна есть. Есть, есть...

И эта точная психологическая проза, и то, что выше от неё поднимается к музыке – всё это пространство и есть поэзия...

Андрей Цухлов, альманах «Карамзинский сад», №3, 2011 г.

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ ПОЭЗИИ

Виталий Андреевич Масюков. В Ульяновске стало меньше на одного поэта. На целого поэта. На яркого, талантливого поэта. Большая потеря, которую нельзя восполнить. Мы как-то привыкли, то ли не желая обидеть, то ли не задумываясь, называть любого художественно рифмующего поэтом. Происходит девальвация этого слова. Так вот, Виталий Андреевич был поэтом без всяких скидок на что бы то ни было: на жизнь в провинции, на малую востребованность его творчества даже в кругу пишущих. Он был не просто поэт, он был виртуоз стиха. Его можно сравнить с Паганини. Порою казалось – он сам бросал

вызов себе, пытаясь найти предел своему дару. А его не было, предела. Он испытывал себя в рифмах, размерах, сюжетах. И рождались жемчужины. Достаточно прочитать такие венки сонетов, как «Чудной старик» (Сократ)», «Рабы Цицерона» и многие, многие его стихи, среди которых октавы, триолеты, терцины, рондо, неосекстины.

Виталий Андреевич был человеком большой культуры, что сразу чувствовалось по его стихам. Он, много лет проработавший на заводе, был более интеллигентен, чем многие, кичащиеся своим статусом, степенями, должностями.

Он не был историком, но в его стихах веет воздух описываемой эпохи. Ключом к открытию ворот времени для него была живопись. Виталий Андреевич любил писать о художниках, о картинах. Не случайно ему так нравилась драма в стихах Д. Кедрина «Рембрандт», откуда он помнил наизусть целые фрагменты, а может быть, и всю её. Виталий Андреевич обладал большим поэтическим кругозором. Он знал творчество таких поэтов, о которых даже мало кто слышал. И дело здесь совсем не в том, что он учился в Литературном институте и вынес оттуда соответствующий багаж, а в том, что любовь к поэзии двигала им, и он пополнял этот багаж снова и снова. Он интересовался современной литературой, и, в том числе, старался следить за творчеством ульяновских литераторов, причем не только в сфере поэзии, но и прозы. Однажды он задал вопрос пришедшим к нему в гости более молодым авторам – читали ли они только что вышедшую книгу одного ульяновского поэта и что они могут сказать о ней. Виталий Андреевич был удивлен и разочарован, когда выяснилось, что никто не прочел её. «Выход книги – говорил он, - это событие. Пусть даже вам не нравится автор, вы должны прочитать книгу, вы должны обсуждать её, даже и критиковать, но о ней нужно говорить. Нельзя игнорировать появление новой книги, ведь это в любом случае событие в ульяновской литературе».

По тематике стихов можно сравнить Виталия Андреевича с Н. С. Гумилевым, который, по крайней мере, до «Костра» и «Огненного столпа» стоял особняком от российских поэтов, даже сборник его назывался «Чужое небо». Стихи Масюкова мало вписывались в сложившийся и привычный круг тем, ожидаемый от ульяновских поэтов, что делало его в определенном смысле чужим среди своих. Его перу принадлежат «Слепой аэд и толпа», «О каноне», «Саламандры» (потусторонние сетования)...

В.А. Масюков писал стихи разного настроения – от философских до юмористических, в них часто скрывалась некая усмешка, какая-то толика иронии. А порою и озорное веселье (вспомним такие маленькие шедевры, как «Муха» и «Песенка о капитане»). Это сам Виталий Андреевич с его интеллигентным, ненавязчивым, практически английским юмором отражался в своих творениях.

Верный рыцарь поэзии, до своего трагического конца он творил в своей маленькой комнате в небольшой квартире на Нижней Террасе. Ценил его верную, бескорыстную любовь, муза поэзии оставалась с ним всегда, вдохновение не покидало его. Как он сам говорил, у него написано на несколько полновесных томов и стихов, и поэм, и драматических произведений, есть и проза. А на выходе оказались только две книги стихов: совсем маленькая «Последняя радуга» и потолще «Быть утром». И всё.

Виталий Андреевич жил с супругой на пенсию, а какая пенсия в нынешней «демократической и рыночной» России для тех, кто всю жизнь отдал не своему кошельку, а Родине? Издавать за свой счет он, вероятно, просто не мог. Не мог и просить. Виталий Андреевич много сил, энергии отдал молодым авторам, когда-то с некоторыми из них он издал альманах «Северный царь». Потом кое-кто из некогда начинающих авторов разбогател и весьма, литература оказалась заброшена. Как-то спросили Виталия Андреевича, что, может быть, хоть этот человек, для которого это сущие копейки, поможет издать ему книгу, но он перевел разговор на другую тему... Что ж, как всегда, нам остаётся сетовать: не доглядели, не оценили, не помогли. Это по-нашему.

Ушёл В.А. Масюков, но останется в истории ульяновской поэзии литобъединение «Стрежень», которое он вёл, и литературное приложение к заводской газете с таким же

названием. Кто хоть раз был на занятиях литобъединения, не сможет забыть, как умно Виталий Андреевич вел их, как благожелательность у него сочеталась с нелицеприятной критикой. Всем нам будет помниться негромкий с характерным легким заиканием голос уважаемого учителя.

Он не был публичным писателем, редко появлялся на поэтических мероприятиях. С его именем не были связаны скандалы и эпатажи. Наверное, и сейчас не все ульяновцы, пишущие в рифму, даже знают о нем.

Хочется верить, что время всё расставит на свои места. Что когда-нибудь произойдет второе рождение поэзии В.А. Масюкова, только в этот раз не в масштабах Ульяновска, а в тех границах, в которых и должна находиться его лира, и имя этой страны – поэзия России. И жители Ульяновска будут гордиться, что они живут в городе, где когда-то жил поэт Масюков.

Валерий Кузнецов, альманах «Карамзинский сад», №3, 2011 г.

Почтите высочайшего поэта...

«Почтите высочайшего поэта...» – эти знаменитые слова всякий раз приходят на ум, когда я думаю о Виталии Андреевиче Масюкове. Когда-то в студенческие годы мне посчастливилось посещать литературную студию, которой он руководил. Было это в первой половине 90-х в Ульяновске. Незабываемое время! Ульяновская неофициальная литература была на подъёме, в воздухе носились перемены, сулившие, казалось, реализацию любых идей. Писатели, дотоле незамечаемые местным – официальным – Союзом писателей, воспрянули духом – их стали печатать, появилась возможность издаваться за свой счёт. Пришли интересные молодые авторы... В городе было два крупных лит. объединения – «Парус» и «Стрежень», в чём-то, возможно, конкурировавших между собой. «Стрежень» возглавлял Масюков. В 1992 «Парус» прекратил существование и я, начинавший когда-то в «Парусе», окончательно перешёл к Масюкову. Сейчас, после многих лет знакомства с Виталием Андреевичем, я, пожалуй, могу определить то главное, что мы обрели в личности нашего наставника – нам довелось встретить Писателя с большой буквы. И это было чудом. Дело даже не во внешних фактах биографии Масюкова, легендарными страницами которой была для нас его учёба в Литературном институте, знакомство с Н. Рубцовым, и даже не в поразительном творческом диапазоне мэтра (стихи, поэмы, рассказы, романы, пьесы), а в той необыкновенной широте художнического воображения, которая вообще-то дорогого стоит, ибо является атрибутом отнюдь не каждой писательской головы. Многие ли из наших ульяновских поэтов смогли бы изобразить, например, похороны Петра Великого или гибель «Варяга» или создать беспримечный во всех отношениях цикл стихотворных комментариев к полотнам художников Ренессанса (да ещё и в твёрдых стихотворных формах)? Вот описать в сотый раз родную деревенскую околицу в избитых, клишированных выражениях или речку, в которой в детстве купался, это да, а большего и не спрашивай (я отчасти утрирую, но думаю, знающие ситуацию со мной согласятся). Провинциальность, как написал один известный литератор, это ограничение не по месту жительства, это, уж извините, ограничение по мозгам. Вот Масюков и учил нас, в том числе и своим примером, это ограничение преодолевать. И это, пожалуй, главный урок. Во всяком случае для меня.

Много воды утекло с тех пор. Пронёсшийся над страной ураган 90-х погубил проклюнувшиеся было ростки литературного процесса в Ульяновске и, кажется, похоронил саму идею литературного объединения. Распался и «Стрежень». Правда, узкий круг верных друзей и учеников вокруг Виталия Андреевича сохраняется и по сей день. У Масюкова за эти годы при поддержке областной администрации вышли две небольшие книжки стихов. Это, конечно, малая толика, учитывая, что всё созданное им потянет на

несколько полновесных томов. В одной из бесед с Соломоном Волковым Бродский как-то заметил, что поэтам надо заботиться только о качестве написанного, поскольку время всё расставит по местам. И ведь расставляет! Первый сборник Масюкова носит название «Последняя радуга». Тогда – в 1997 – казалось, что эта книга в 80 страниц будет первой и последней. Но автор ошибся. Вторую книгу он назвал «Быть утром». Значит, почувствовал благосклонность нещедрой доселе литературной судьбы. Дай Бог!

В 2009 году Виталию Андреевичу Масюкову исполняется 75. На рабочем столе, как и прежде, рукописи новых стихов, готовится к изданию третья книга. Время всё расставит по местам, только надо ему в этом помочь, почаще вспоминая призыв Данте «Почтите высочайшего поэта!»

Алексей ЛАНЦОВ

Журнал «Иные берега». 2009. №1 (8).